

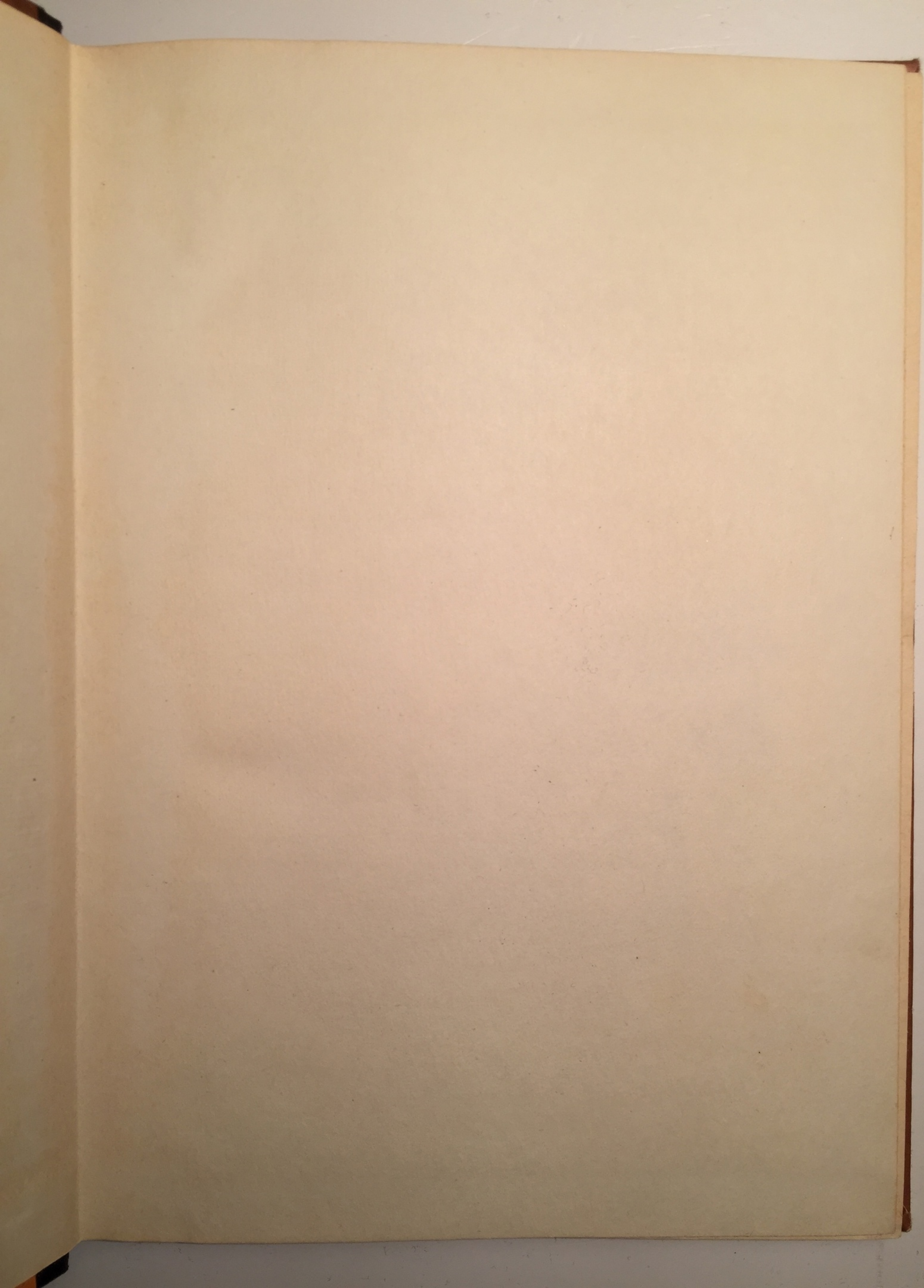
А. Коритковская

Белка из Ольховки

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







А
Бел
И

МОСКВА

«Детская

1973

А. Корытковская
Белка
из Ольховки

П О В Е С Т Ь

МОСКВА

«Детская литература»

1973

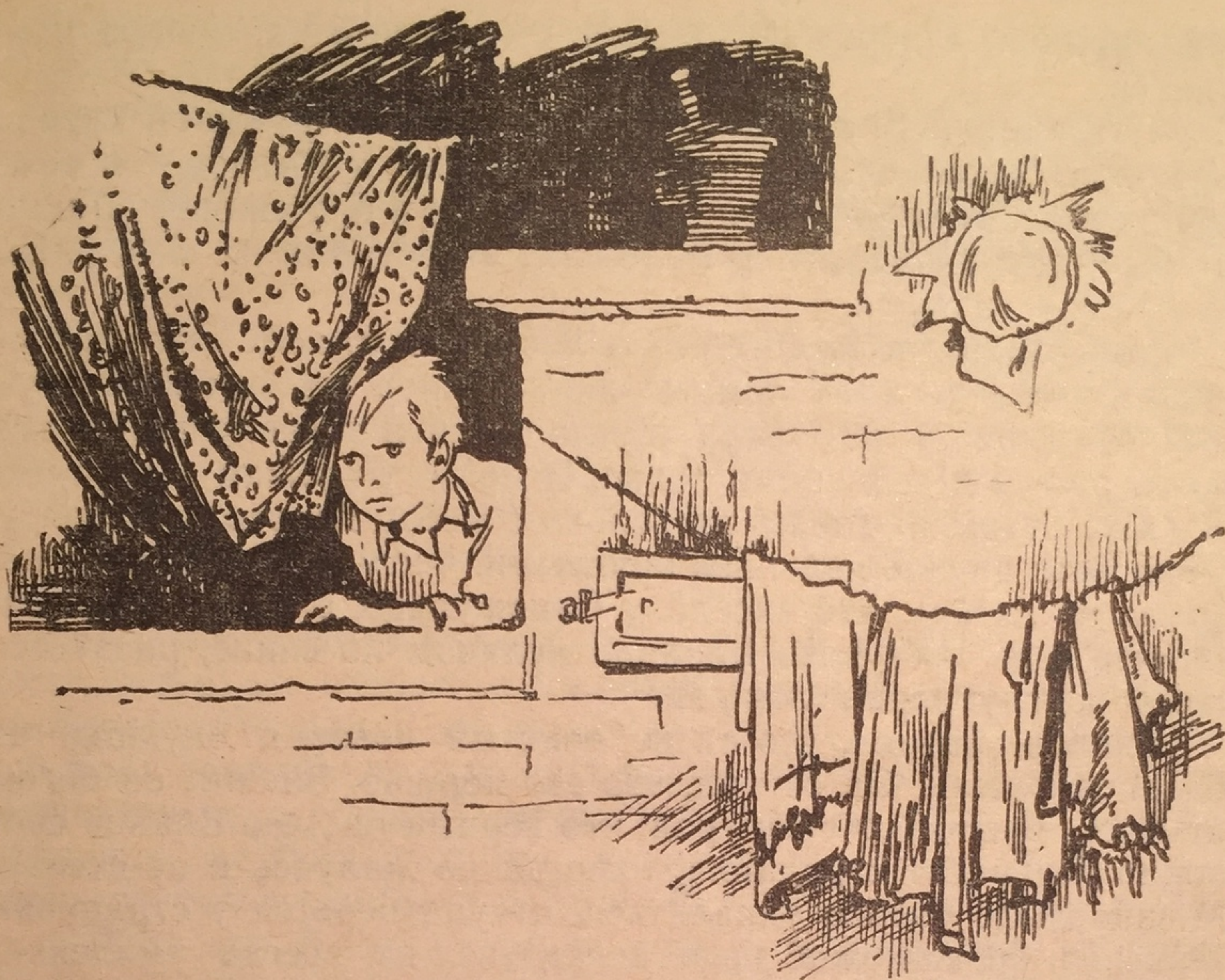


P2
K66

ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

Рисунки В. Самойлова

К $\frac{0763-411}{101(03)73}$ 321-73



1

Белка слышал, как бабка, наступая на подол и досадливо кряхтя, взбиралась на табуретку. Ее жесткие пальцы прошуршали по кромке печи и легли на его локоть. Белка притворился, что спит, и стал громко дышать, потому что бабка была глуховата.

— Спит Тимохвей, — сладко сказала бабка, — спит, светик ясный!

Это она для гостей сказала. Будто на самом деле так сильно любит Белку, что даже разбудить боится.

Белка потихоньку расщурил глаза и посмотрел в щелочку между занавеской и печкой.

За столом, под иконами, сидели странник Вианор и Володька Натуда-Руда. Перед странником стояла тарелка с жаре-

ной курицей, а перед Володькой — блюдец с картошкой и селедкой.

У странника Вианора лицо было под цвет румяной курицей кожи. Только курица была гладенькая, а Вианор — в беле-сой щетине, растущей пучками по щекам и подбородку. Вианору было лет пятьдесят, а Володьке, известному на весь район пьянице, — за сорок.

Странникам полагается быть тощими и от всех тягот святой жизни иметь усталый темный лик. Вианор же был весь круглый. И голова у него была круглая, будто облепленная влажными рыжими колечками волос. И белые ладошки — круглые. И даже ботинки, стоило их только с месяц поносить Вианору, распухали и тоже делались круглыми. Фигурой же Вианор походил на гитару, что висела у Сапожковых в углу. Белке казалось, если постучать Вианора кулаком по спине, раздастся такой же глубокий гулкий звон.

Вианор говорил, что он не толстый вовсе, а опухший от больной печени. Он считал, что это хорошо. Значит, он богом отмечен. Будто бог очень рад, что верный раб его Вианор спокойно переносит страдания, никогда не жалуясь и не стеля. Можно было только удивляться, откуда берется у странника терпение. Невозможно было догадаться по всегда умиленно-доброму лицу о его невероятных муках.

Бабка говорила, что лет шестьдесят назад странники только и носили что две рубахи — снизу из конских волос плетеную, а сверху из крапивного мешка шитую. Ну, и еще штаны в заплатках. Голову вовек ничем не покрывали и ходили всегда босы.

Вианор одевался тепло и ладно. Он объяснял, что тело его — только шкатулка со всякими божьими указами и советами. А шкатулка эта непрочная, ибо все человеческое Вианором пережито, все внутри у него изношено, а то, что осталось, принадлежит богу, и должен он пещься о своем теле. Потому что истратил он его не на божеские дела и остатка века едва ли хватит, чтоб, представ после смерти перед господом, сказать ему: «Верный твой слуга и раб Вианор сделал все, чтобы отмолить и свои, и чужие грехи».

Бабушку это очень умиляло и расстраивало, она считала, что всю жизнь прожила в суете, больше думала о себе, чем о боге. И что Вианор послан ей напоследок жизни, чтоб она о том подумала.

Она прощала Вианору его дружбу с Володькой. Кому, как

не Вианору, позаботиться о заблудшей душе, на которую уже все рукой махнули!

Преданный Вианору пьяница Володька считал себя существом ненужным и потому в любое время года обходился хуленьким рябым пиджачком и маленькой кепчонкой, едва прикрывавшей лысую его голову. Зато была у Володьки могучая черная борода.

Натуда-Руда — не фамилия, конечно. Это прозвище, придуманное мальчишками. Вместо ноги у Володьки была деревяшка. Когда он шел по улице, деревяшка въедливо скрипела: На-ту-да... Ру-да... ту-да! На-ту-да... Ру-да... ту-да...

Володька хвастался тем, что у него «ход музыкальный», и ни за что свою почернелую деревяшку менять на новую не хотел.

Знаменит Натуда-Руда был не одной только деревянной ногой, а тем, что изобрел и сделал сам удивительно быстроходную лодку. Походила эта лодка на большущую стерлядь. Такой была непривычно странной формы. Из-за нее Натуда-Руда окончательно и спился — возил людей на дальние покосы, на обильные таежные ягодники, куда не все могли попасть — очень уж они тоже были далеки. Люди щедро платили, а Натуда-Руда пил. В конце концов заводское начальство запретило ему возить людей на лодке. И теперь она валялась на берегу вверх ржавым гулким брюхом.

Очень давно работал Володька на Ольховском заводе. Большим считался мастером. Будто бы его даже на учебу куда-то собирались послать.

Но началась война, и взяли Володьку в танковое училище. Однако на фронт он так и не попал. В последний вечер перед отъездом пошел он с товарищем погулять. И как-то оба они под поезд угодили. Товарищ совсем погиб, а Володьке ногу отрезало. Вернулся Володька домой и с первого дня запил. С ним сначала нянчились, жалели его, пробовали лечить. Но Володька пить не бросил, и отступились от него все. Кроме Вианора. Вианор говорил, что только истинной веры люди полны любви и заботы к ближнему. А у безбожников в сердце одно лукавство и обман.

Бабка Володьку не любила, брезговала им. И пускала его, только когда появлялся Вианор.

Обычно вслед за Володькой приходила еще долгоносая Анна, продавщица из посудного магазинчика. Вот и теперь сидела она, сжав напряженные пальцы, на краешке сундука воз-

ле дверей и очень походила сбоку на бабкиного гусака. Сидела Анна и слушала Вианора, не спуская с него восхищенных белесых глаз.

— Ты кушай, дорогой Вианорушка,— просила бабка, подвигая Вианору тарелку с огурцами.— Огурчики у нас сладкие!

Вианор похвалил:

— Щедры дары твои, Никитична! Помнишь, как в писании сказано: «Отпустить же их не евшими не хочу, дабы не ослабели в дороге!»

Бабка умилилась:

— Насквозь ты божье учение знаешь. Бог-то ровно твоими устами глаголет!

— Мирские слова суетны. Что такое человечество? — Вианор вздохнул горестно.— Род лукавый и прелюбодейный...

— Уж и верно.— Бабка смахнула полотенцем муху, севшую на край крынки.— Нам вот с Дашей все в нос Тимохвеем тычут — мол, почто мы его в церкву таскаем. А того не поймут, что там жизнь чистая и как есть возвышенная!

Бабка, всхлипнув, утерла нос полотенцем.

Вианор, жуя и от удовольствия жмурясь, заметил наставительно:

— А знаешь ли ты, Никитична, притчу? Спросил некто господи: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И сказал господь: «Не до семи, но до седмижды семидесяти раз!» Так-то, Никитична!

Анна даже чуть привстала с табурета и охнула от восторга. Такой был этот Вианор умный. Разные святые книги бабка вслух читает, и мать читала, и поп, отец Алексей, когда в гости приходил, но у них это скучно получалось и непонятно. У Вианора же выходило так складно, так красиво! Будто сказка. Натуда-Руда, например, очень от его слов расстраивается и сразу начинает каяться в своих грехах.

Он тут же ударил себя в грудь опухшим серым кулаком и воскликнул:

— Презираю себя, Вианор! Презираю! Слаб я... Водку, зелье проклятое, люблю. Позавчера напился и двух кур у Мартемьяновых спер. До сих пор ищут. Пропащий я...

— Человек, конечно, должен любить,— заметил Вианор,— однако, брат мой, не водку. Водка — только мираж. Знай — не ты кур тех украл, водка их украла.

— Вот же окаянная...— горестно удивился Володька.

Белке не хотелось слушать, как всхлипывает пьяный Натуда-Руда и как сейчас бабка с Вианором начнут его отчитывать. Белка еще со вчерашнего дня старался к деду Демиду по-пасть.

Стал он придумывать, как бы удрать незаметно: бабка велела с обеда огородную клубнику собирать на продажу. Печка перегораживала дом на две половины: большую, где была горница, и маленькую — там помещалась кухня. Из-за печки не видно было, что делается на кухне. Окошко с утра бабка открыла, и в него ничего не стоило выскочить. Однако на подоконнике стояли крынки. Начнешь их убирать — бабка услышит. Глухая-глухая, а все кухонные звуки до нее мигом доходят! Однако Белка решил рискнуть. И уж ногу с печки спустил, как на крыльце раздался басовитый голос поселкового милиционера Петра Петровича. Он разговаривал со злющим псом Рябкой. Из взрослых Петр Петрович был, на досаду бабке, единственным человеком, которого Рябка встречал с восторгом.

Бабка, заслышав милиционерский голос, охнула испуганно, а Вианор привстал и промолвил, перекрестившись:

— Неисповедимы пути твои, господи!

Натуда-Руда же чуть под стол не полез.

Белка тем временем спрыгнул с печи и прошмыгнул мимо бока Петра Петровича, украшенного новенькой кобурой.

Он-то ничуть не испугался, потому что привык: стоило появиться Вианору, приходил и Петр Петрович. Потом они вместе отправлялись в отделение. По пути Петр Петрович мирно уговаривал Вианора трудоустроиться, не болтаться без работы, производить материальные ценности. Называл он его при этом Николаем или гражданином Терещенко.

На все это Вианор вздыхал, поправляя воротник серой рубашки. А у самого крыльца отделения, набрав горсть полыни и поднеся ее к носу, говорил смиренно:

— Я человек больной, инвалид... Не ворую, живу на пенсию. У меня и документы есть на это, и вам, Петр Петрович, то известно. А что я в бога верую и в боге нахожу себе друзей, так это уж мое дело, мне Конституцией дозволенное. Разве у нас религия запрещена?

Должно быть, эти слова Петра Петровича обескураживали и спорить ему с Вианором было трудно. Однако с собой он его все-таки уводил. О чем они беседовали в самом отделении, было неизвестно. Но Вианор возвращался оттуда

мрачнее тучи, притчей не говорил, а поспешно собирался и к вечеру из поселка исчезал.

А иногда Петр Петрович, занятый каким-нибудь другим делом, оставлял приход Вианора без внимания. И тогда Вианор жил у Сапожковых недели две.

На крыльце Белка чуть не перелетел через Рябку, который так и рвался в дом за Петром Петровичем, скуля восторженно и преданно. Белка схватил Рябку за ошейник и потащил его к поленнице. Там вынул из-за пазухи краюху хлеба, припасенную с обеда. Рябка и про Петра Петровича забыл. Схватил краюху — только зубами щелкнул.

— Ешь, Рябченька, ешь... — говорил Белка, а сам оглядывался — не идет ли бабка.

Чтоб Рябка был злее, бабка с матерью держали пса впроголодь. Рябка и верно стал на редкость свирепым. Однако у Белки не было добрее и вернее друга. Даже с Лексейкой Вороновым Белка дружил не так. Рябка ни за что не осуждал Белку, не задавал никаких вопросов, а попросту сильно любил его.

То, что Рябка охотник, а вовсе не цепной пес, Белка знал точно. А оттого, что не дают ему воли, велят сидеть на цепи, Рябка и не любил людей. Он думал, конечно, что все люди такие, как Белкина бабка и мать. Как тоскливо глядел он в небо на улетающие караваны диких гусей! Как провожал он глазами других собак, что уходили со своими хозяевами в тайгу, пренебрежительно глянув мимоходом в его сторону! Но что мог поделать Белка с толстой Рябкиной цепью! Он только приносил ему из лесу то сосновую ветку, на которой белки сушили грибы, то осиновые прутья, объеденные сохатым, то пучок сырого моха с пометом косача или зайца. Давал нюхать, а потом долго и подробно объяснял, что это за звери. Рябка внимательно слушал, склонив набок голову, настораживая уши и виляя хвостом.

— погоди, — обещал Белка, прижимаясь лицом к тяжелой лохматой собачьей голове, — я как-нибудь сведу тебя в тайгу.

Раньше Белка любил играть в святых. Когда дома варили студень и разбирали кости, Белка выпрашивал самые крупные и красивые бабки, раскрашивал их, пририсовывал им глаза, носы и рты. Каждая бабка изображала какого-нибудь святого. Был тут и блаженный Андрей, о котором всегда с умилением говорила бабушка. И святые бессребреники Кузьма и Демьян, тоже ее любимцы. Были святитель Николай-чудотворец и Варвара-великомученица. И еще Симеон-столпник. Пока Белка не



пошел в школу, он подолгу возился в подвальчике под сараем или в конце огорода со своими куклами-бабками. Удивительными и страшными казались Белке приключения святых.

Но в школе узнал Белка о первых летчиках и первых космонавтах, без страха улетающих к далеким звездам, о солдатах, бросавшихся с гранатами под вражеские танки. О пограничниках, стерегущих страну день и ночь неусыпно. С них никто не рисовал икон. Белка разглядывал их портреты в книжках — простые лица, хорошие глаза, никаких венцов над головой. А то, что они сделали, было очень здорово и очень важно для людей. И Белке стало скучно со своими святыми. Очень уж унылые они были — плакали да молились, не ели, не пили, спали в гробах, кормили клопов и блох, бегали нагишом по морозу. И зачем только это богу было надо! А бедняга Симеон только и делал, что стоял на столбе. Белка попробовал, но, несмотря на всю его ловкость, у него ничего не получилось. И Белка подумал, что все это враки насчет Симеона.

Друг его Лексейка, хоть и был помладше, вполне с ним соглашался. Он сказал, что лучше играть в нормальные сказки, в Бабу-Ягу, например, или в Змея Горыныча. Потому что там

есть Иван-царевич, с которым всякие приключения интересные случаются. И вообще в сказках хоть и страшно, но весело. И дураки в них умные. Ни одного такого дурака нет, как разные там святые.

— А лучше всего, — сказал тогда Лексейка, — играть в трех мушкетеров или пограничника с собакой.

Белка за святых немного обиделся, но ссориться с Лексейкой не стал. Поиграли они сначала в мушкетеров, а потом стали учить Рябку разным хитрым штукам, которые должна знать пограничная собака.

Лексейка сам читать не умел. Он просил своего отца, и тот брал в библиотеке книжки про то, как дрессировать собак. На сеновале или в лесу Белка читал эти книжки вслух.

И когда бабка и мать уходили из дому, Белка спускал Рябку с цепи. Рябка скоро научился по команде и ползать, и лежать, и сидеть, и бегать. Он быстро находил след нарушителя, которого почти всегда изображал Лексейка. Куда только ни прятался Лексейка: и на крышу, и под дом, и в картофельной ботве большущего огорода, — Рябка отовсюду вытаскивал его за полу и весело трепал, свирепо рыча. Рычал он, конечно, понарошку, потому что был совершенно счастлив в такие часы и совсем забывал, что он всего-навсего цепной дворовый пес.

Так что бывший пограничник, а теперь милиционер Петр Петрович нисколько не ошибался, приписывая Рябке особый ум.

Но как бы там ни было, а Рябка находился в рабстве, как говорил Петр Петрович. И взять собаку с собой к деду Демиду Белка не мог.

Он только обнял его крепко и сказал быстрым шепотом:

— Потерпи! Все равно когда-нибудь мы пойдем в тайгу вместе. Честно-пречестно!

2

В последний раз Белка обещал Лексейке взять его к деду Демиду. Идти к протоке приходилось по улице, на которой стоял Лексейкин новый дом. Был он большим и красивым. Таких красивых домов, верно, нигде больше не строили. Потому что отец Лексейки был столяром-краснодеревщиком, и дом у него вышел будто из разноцветных кружев. По карнизам и ставням вокруг окошек и дверей, вдоль завалинки, по коньку крыши пустил он затейливую деревянную резьбу. Крылечко

сделал на шести витых столбцах с острой башенкой. И чего только не нарезал — ромашки, колокольчики, речные кувшинки, рогоз. И все своим цветом выкрашено. На башенке — рябая курица. На крыше — важный петух. Чудной дом, удивительный!

Постоял Белка, полюбовался и зашел в ворота. Думал, что удочки Лексейка ладит или играет забавным своим кожаным мячом, сшитым из белых и синих клиньев. Но на мощеном чистом дворе было пусто. Только из трубы летней кухни, что стояла в углу двора, валил дым и в открытые окошки видно было, как Лексейкина толстуха бабушка, бабонька Татьяна, тесто на столе бьет и от мух отмахивается короткими руками.

Пошел Белка спросить, куда делся Лексейка. И тогда только его увидел. Лексейка стоял во дворе, на солнышке, и в обеих руках держал перед собой сковородник. На земле рядом лежала большая белая панама.

Ага, значит, Лексейку бабонька Татьяна за что-то наказала! Она всегда его на солнышко со сковородником ставила, пока прощения не попросит. И что за смешное наказание!

Спросить Лексейку Белка ни о чем не успел, потому что бабонька Татьяна выбежала из кухни с квашонкой, прикрытой полотенцем, и жалобно закричала:

— Лексейка! Ты зачем панаму снял? Ты что думаешь? А если солнечный удар случится, а?

Лексейка молчал, надув щеки, и старательно держал перед собой сковородник.

Бабонька Татьяна поставила квашонку, подбежала к Лексейке и нахлобучила ему на голову панаму.

— Не снимай больше!

— Сниму,— сказал Лексейка,— потому что я не виноватый.

— Как же ты не виноватый,— всплеснула бабонька Татьяна руками,— если мы тебя с полночи потеряли! Мать чуть с ума не сошла,— тут она заплакала,— а про себя я уж и вовсе молчу! Надо же было до света в меже проспать, хоть и на тулупе. Так и чахотку схватить недолго! Нету у тебя сердца!

— Так я ж не нарочно уснул,— воскликнул Лексейка,— уснул и все проспал! И не видал, как роса садится! Белка вон видал, а я так нет!

И Лексейка заревел.

— И что ж мне с тобой делать! — всполошилась бабонька Татьяна.— Перестань плакать, Лексеюшка. Перестань же! Да брось ты этот сковородник!

Ухватила она Лексейку за плечи, прижала к себе, вытерла и свои и его слезы фартуком.

— Будет уж, будет! Пойдем в дом, пирожками накормлю. И дружка твоего угощу. Я к завтраку вкусненьких пирожков напекла! Только вот погодите, мух выгоню!

Открыла она квашонку, и из квашонки мух неведомо сколько вылетело. Бабонька Татьяна всегда квашонкой мух вылавливала: вытряхнет тесто, поставит открытую квашонку возле печи, и все кухонные мухи живо туда собираются. Замахала бабонька Татьяна полотенцем:

— Кыш, кыш, проклятушие!

— Бабонька Татьяна,— сказал Лексейка, боясь засмеяться,— и что ты каждый раз мух из квашонки живых выпускаешь? Они же обратно в окошко летят!

Бабонька Татьяна отвернулась:

— Так что мне, Лексей, давить их в квашонке?

— Ага,— злорадно сказал Лексейка,— их тебе жалко! А меня не жалко!

Бабонька Татьяна, поправив легонький синий платочек в желтую горошину, полезла в подпол за молоком. Белке некогда было ждать, Белка спешил. Он дернул Лексейку за рукав, сказал нетерпеливо:

— Ну...

— Ты меня отпустишь на остров, бабонька Татьяна? — спросил Лексейка, присев у подполья на корточки.

— Ни-ни-и! — донеслось оттуда.— Посиди дома, раз виноватый. Пусть Тима один идет. Дай только ему два пирожка на дорогу. Да заверни их в бумажку, они жирные!

Хоть Лексейка и считал, что бабушка у него много смешного делает, но любил ее и слушался. Оттого слушался, чтоб не огорчать. Он и сейчас не стал спорить. Однако принялся хныкать пожалобней и ныть, заворачивая пирожки.

Белка поджидал, не сжалится ли бабонька Татьяна наконец. Смотрел, как бежит вода из-под крана. Не бежит — стоит стеклянным чистым столбиком. Бабонька Татьяна молчала, и Белка отправился восвояси ни с чем.

Жуя пироги, припрыгивая, бежал Белка по улицам, отбросив все мысли о бабке, о матери, о том, что ему наверняка попадет, когда он вернется. Все лето никуда не пускали. То поросята, то корова, то огород, то молитвы. А как на свете хорошо и здорово!

Вон за огородами тетка ловит мальчишку. В зубах у нее папираса, похожая издали на милицейский свисток. Должно быть, мальчишка что-то с огорода стащил.

А вон девчонка с мячиком. Увидела Белку, кинула в него мячом. Мяч сердито помчался за Белкой, громко и грозно стуча по сухой дороге. Но как стал приближаться — засеменил, перепугался, совсем к дороге прилип — тюп-тюп... тюп... тю... И лег, замер, будто и глаза закрыл от вины и страха.

Девчонка рассердилась на мяч. Опять его за Белкой послала — ударь мальчишку в спину! А мяч вдруг и про девчонку, и про Белку забыл. Весело и высоко поскакал мимо на невидимой длинной ножке — так обрадовался воле, солнцу, твердой звонкой земле.

Показала девчонка Белке язык, побежала мяч догонять.

А Белка вприпрыжку дальше. Тени от деревьев падали на дорогу, и была дорога оттого полосатой, как домотканые бабкины половики.

Белка любил убежать за поселок.

Там пологий травянистый берег под горой сужался-сужался и вдруг, повернув круто вместе с рекой, превращался в неширокую полосу песка с галькой.

С большущих старых тальников на песок и мелководье отчего-то раным-рано начинали падать листья. Узкими желтыми лодочками плавали они то к берегу, то от берега. А под ними, по рябому дну, по скорым косячкам прозрачных рыбьих малявок плыли их нежные тени.

А еще утром на песке было много косачиных следов. Косачи прилетали сюда из тайги кормиться мелкими камешками. Тайга начиналась вверху, на скалах, облепленных сизыми лепешками старых лишайников. Ниже, в каменистых расселинах, наклонившись вперед, дрожали тощие березы и хрупкие кусты таволги.

Забираться наверх было очень трудно. Даже мальчишки из шестого на это не решались. А Белка любил лазать по скалам, да еще в самых трудных местах, и делал это очень ловко. Потому-то его, Тимку Сапожкова, Белкой и прозвали.

Только никто не знал, почему Белка приучился лазать по скалам и деревьям.

Конечно, из-за бабки. Сухонькая старуха была пронырливой и чересчур шустрой на ногу. Она где угодно могла найти

Белку. Ей ничего не стоило пробежать по всему поселку, а заодно вокруг него по лесу со своей легкой талиновой палочкой, которую она таскала с собой не столько затем, чтобы опираться на ходу, сколько для того, чтобы при случае поколотить Белку.

И к тому же Белка любил смотреть вокруг со скалы или с большого дерева. Смотреть и думать.

Вон синяя река.

На реке зеленый остров.

На острове сначала тальники, а потом березы. За ним озерко видать.

На озерке изба с огородом. Там живет дед Демид, охотник-промысловик, большой друг Белки.

За его избой сосняк. И уже сквозь сосняк опять реку видать. А тот берег весь лесной, гористый.

И выше всех гор одна, под названием Моховой Леший. Ее отовсюду видать. Не гора — головища. С сивой бородой, с косыми бровями, со злыми крохотными глазками и ртом, от уха до уха раздвинутым в недоброй усмешке. На этой горе ничего не росло — одни только лишайники да мох.

Все говорили, что скала страшная. А Белке она нравилась. Потому что интересно — как это, без человеческих рук, сама по себе такая гора получилась?

Все ее боялись. А Белка думал: «Что может сделать голова без рук? Щелкать зубами?» Но Моховой Леший не щелкал. Он стоял смирно и смотрел поверх других гор куда-то вперед. Что там он высматривал? Над чем смеялся? И Белка, единственный из мальчишек в этих местах, забирался на лысую макушку Лешего. И принес оттуда на память три камня.

Дед Демид похвалил за умение и храбрость. А один камень взял себе и положил на комод. Дед Демид с Моховым Лешим часто видится, потому что тот стоит в его промысловых угодьях.

Сидит Белка, не шевелясь, в таволожке, думает: отчего все считают, что бога нет, а у Белки дома говорят, что бог есть? Легко сказать — нету. Легко сказать — есть. А как объяснить, что его, к примеру, и нет вовсе? Страшно про это думать, вдруг бог на самом деле есть? Вдруг вздумается ему обрушить на Белкину голову молнию или какое-нибудь еще наказание? Хоть и говорит бабка, что бог милостив, однако не похоже. По Библии, которую у Сапожковых любят вслух читать, выходит, что бог только тем и занимался раньше, что уничтожал всякие

города и народы без всякой жалости. Что ему стоит пугнуть какого-то мальчишку! Белке не очень-то хотелось с ним связываться.

Вот как-то пришел Белка к бабке и спрашивает:

— А почему вода, когда ее много, синяя, а когда мало — без всякого цвета?

Бабка говорит:

— Так бог создал. Чтоб красиво было. Вода — синяя, деревья — зеленые, песок — желтый, цветы — красные.

Очень похоже на правду. Когда Белка рисует, он тоже красит все так, чтобы было красивее.

Пришел тогда Белка к учительнице своей Антонине Петровне:

— Почему вода синяя?

Перед учительницей — гора тетрадей. Она два класса учит — четвертый и третий. Во дворе корова мычит — доиться пришла. Самовар вскипел, квохчет, как наседка. В люльке ребенок хнычет. Вытерла Антонина Петровна потный лоб застиранным фартуком и говорит:

— Почему да почему! Замучил! Почемучка ты, Сапожков! Природой так положено. И вообще тебе это знать еще рано.

Ребенку в рот соску сунула. Схватила трубу с самовара, кинула на шесток. Ведро понюхала — чистое ли. Тряпку с веревки сдернула. Помчалась корову доить.

Вздохнул тогда Белка, покачал ребенка, пока тот не уснул. Подумал и насмелился к учителю физики пойти.

Учитель физики копал в своем саду ямы — яблони сажать. Он помоложе Антонины Петровны, но хозяйственный и очень аккуратный. Про него все так говорят. Вот и тогда — копал он ямы, делал грязную работу, а на нем серые глаженные брюки, желтая рубаха, крестом вышитая, негустые черные волосы причесаны так гладко — аж блестят. На руках — ни пылинки. И черенок лопаты выкрашен зеленой краской. Так он лопату аккуратненько ставил, будто не землю — пирог резал. И ямки у него получались одна к одной — засыпать жалко.

Заметил учитель физики Белку, спросил:

— Чего тебе, мальчик?

Глотнул Белка, пальцы сжал.

— Скажите... а почему вода в реке синяя?

Учитель физики удивился:

— В каком ты классе?

Белка втянул голову в плечи.

— В третьем...

— Троек много?

Посопел Белка, признался:

— Все тройки...

Учитель физики остановился, положил руки на черенок, покачал головой:

— Вот видишь: за третий класс программу толком не знаешь, а пришел таким вопросом интересоваться! Законы природы — сложная вещь. Приблизительно скажу тебе так. Небо синее — и вода синяя. Закат красный — вода тоже. Замечал? Постарше будешь — узнаешь и все поймешь.

И поплелся Белка домой.

— И-и, — сказала дома бабка, — дурень ты! Сомневающийся ты! От бога так дано. А они все путают, путают! Наука! А гром как гремел, так и гремит! Дожжа не надо, а он льет. А ежели сухота стоит — хлеба́ горят. Где их наука тогда? Почему порядок не наведет? А потому, что перед богом они без силов! Молись-ка лучше да почаще. Больше толку будет.

Бабку свою Белка не слушать никак не мог. Про себя он думал, что бабка его все-таки немножко колдунья. И талиновaя ее палочка не простая — волшебная. Бывало, соберутся по грибы, а на улице от низких туч сине и хмуро. Бабка выйдет на крыльцо, поглядит вверх узкими своими глазами, пожует губами, скажет:

— Ничего-о... — Махнет талиновой палочкой вправо: — Эти тучи туда пойдут! — Махнет влево: — А эти — туда. Нам-то прямо. Нам дожджа бояться нет резону.

И верно. Вдруг посреди неба забрезжит голубой желобок, с каждой минутой шире, шире становясь. Вот уж в ручей превратился, вот — в реку, откуда-то белое облако побежало, ударили солнечные лучи. А слева и справа — страх глядеть — грозы над горами, ливни тяжелые серыми полотенцами висят, густые громы бурлят в них, молнии с сухим треском сгорают.

А бабка идет себе, идет, перед Белкой покачивается ее суховатая твердая спина.

— Нету ж грибов, бабушка! — говорит Белка.

— Нету? Ой ли?

Нырнет талиновая палочка под влажный белесый лист прошлогодний. А под листом — грузди. Да так пахнут солено и вкусно — хоть сейчас ешь.

Бежит бабка, едва за талиновой палочкой поспевая,— от груздя к груздю. А Белка их режет, пачкая пальцы горьким белым соком.

— Самый сейчас груздь. А потом не груздь будет. Потом не разберешь — не то груздь, не то помет коровий. У всего, внук, есть свой час.

Знала бабка эти часы точно. Никогда не ошибалась. Как же не верить бабке?

Сидел Белка на скале в сухой расселине, смотрел вдаль, горевал о том, что много непонятного. И вдруг внизу в тальниках знакомая косынка мелькнула. Нырнул Белка в таволгу. Видно ему — бежит бабка, скользя по сырой тропке. Его ослушником бранит. Дождался, похрустывая незрелой мелкой смородиной, когда повернет назад.

Сутулой бабке неловко глядеть вверх, но она, смешно скобочившись, глядела, стучала — щелкала палкой о камни, кричала:

— Ох выпорю, ох выпорю! Вианора провожать надо! Ягоду брать пора, выдь сию же минуту, неслух!

Ушла бабка. Белка сел, свесив со скалы ноги.

— Не пойду. Не хочу,— сказал сам себе.— Все равно поеду к деду Демиду, к Карле поеду!

Помчался он к поселку, туда, где стояла их старая лодка.

3

Недолго плыл Белка — остров рядом. С шорохом вошла лодка в песок. Примотал он ее к сухому корню узловатой мокрой веревкой. Пошел по тропке через тальники, мимо тихого озера. Шел и ждал, а вдруг навстречу вороненок Карла вылетит. Вылетит, сядет к нему на плечо, больно сжимая его когтистыми лапами. И начнет под ухом щелкать клювом и клохтать. Дескать, ах, как я рад! Но Карлы не было. Только две сороки, вертясь на верхушках деревьев, перекликались, косясь в Белкину сторону.

На обкошенной поляне, давя копытами жирные грибы-порховки, паслась дедова коротконогая лошадка Матреша. Только хотел Белка окликнуть ее, видит, крадется с палкой в руках под деревьями дед Демид — борода торчком, согнулся в три погибели, палку как ружье держит.

Белка остановился. Никогда такого не видал. Что это вдруг

с дедом случилось? А дед подкрался к Матреше, ухватил ее за гриву и сказал укоризненно:

— Дура ты, дуреха! Это что ж я теперь, старой такой, каждый раз с тобой циркачом должен быть?

— А что ж она, дед Демид? — спросил Белка.

— А то ж, — ответил дед. — Задурила вот как две недели. Ежели раньше вечера позовешь — ни в жисть не пойдет, окаянная. Вот я и прикидываюсь, будто зверя какого скрадываю. Она давно со мной, никого не боится, привыкла вид такой для зверя делать, будто никакого охотника тут и нет, она одна пасется. А я тем временем из-за ее спины ружьецо, стал быть, высуну да и стрельну! Вот она и ждет, когда подкрадусь, ждет, когда выстрелю. Ухом не поведет. Охотник! Только что сама стрелять не умеет.

Во дворе встретила их бабушка Ганя, жена деда, большая строгая старуха с коричневым лицом. Взяла лошадку за гриву, увела в угол двора.

Белку баба Ганя не любила. И все за бога. Сердилась. Она, мол, старая, с богом выросла, а не верит. А он, щен этак, молится.

— Карла твой уплелся куда-то, — сказал дед Демид. — Должно быть, за кошкой. Часа три как нету. Но ты не бойсь. Этот парень боевой, в обиду себя не даст. Да у меня на острове и напасть на него некому.

Дед Демид усадил Белку у костерка на чурочку. Над костерком в котле тихо бурчал, лениво вспучиваясь, густой воющий жир. На широком пне лежали две кучки круглых самодельных пуль. В одной куче — гладкие, в другой — шершавые, вроде бы ножом посеченные.

— Зубы хорошие у тебя? — спросил дед Демид и сунул Белке в руку пульку. — Кусай, чтобы ямки были, чтоб было где жиру держаться. Вишь сохатиного сала наквасил. Квашенные пульки на медведя готовлю. А может, и на сохатого, может, и на волка. Нынешние пульки хоть и хороши, а эти вернее. Ядовитые они получают от гнилого-то сала. С ней зверь далеко не уйдет, все одно сдохнет.

У деда Демиды невидное худое лицо, небольшая борода, нос кривоватый. От носа шрам через щеку, так что губа чуть поджата. Будто дед Демид одной стороной лица всегда улыбается. Правого уха наполовину нет, и позади него — блестящая плешина до морщинистой волосатой шеи. Это его так медведь тронул.



Дед Демид усадил Белку у костерка на чурочку.

На спине деда Демида от плеча до пояса четыре глубоких шрама — тоже след медвежьей лапы.

Ростом дед Демид мал и телом сух. Каждый раз, что-нибудь рассказывая, топчет дед маленькой белой ступней. Удивляется Белка: этакой-то маленькой ногой сотни километров исхаживает дед Демид за зиму по глубоким снегам, по глухим таежкам, через крутые хребты, через непролазные завалы! Этой-то маленькой рукой уложил он за свой век пятьдесят шесть матерых медведей, не считая молодых!

Думал Белка, а сам краем глаза смотрел, как баба Ганя лошадь поит да из гривы ей репы выдергивает.

— Лечим мы, значит, Матрешку-то, — объяснил дед Демид. — Чтой-то желудок спортила. И чево бы могла нахвататься?

И вспомнил тут дед Демид случай прошлогодний в соседнем колхозе. Там какой-то ротозей травленное зерно во время сева в поле оставил открытое, и лучшие колхозные кони того зерна наелись. Белка сам видел, как помирал один из них, самый наилучший, — карий председателев любимец. Шибко бился он, лежа на вздутом боку, шибко хрипел, выкатывая белые глаза. А Белка сидел на крыше дома напротив и плакал. Вспоминал, как весело и красиво летал по дорогам с легонькой кошевкой могучий конь. Думал — вот подкараулит того ленивого мужика и пустит в него хорошим камнем, чтоб знал!

А дед Демид уж и забыл, что сам про тех коней от Белки услышал, и теперь про них который раз рассказывает.

— Однако, — сказал дед Демид, — хотя и хорошие кони были, а я на весь этот табун одну свою Матрешу не поменял бы, хоть она и головата, и толстопуза, и неказиста вроде. Нонче пришел ко мне с Петровки один — продай, мол.

Дед Демид так и засмеялся на весь двор, открывая щербатый рот.

— Их-хи! Мне хоть сто тыщ давай — не надо! Она у меня и ступистая, и не спотыкливая — ровно на пуховке сидишь. Смирна. Сноровиста — по любому болоту пройдет. И солоща-то!

— Что это — солоща?

— А то, что все ест с большой охотой. И щи, и кору, и ягоды. Требуху и то съест. Тундру, мох то есть, на корню оболую водой соленой — за милую душу сгрызет. А волки — те ее ох и боятся! А диво им, что лошадь, глаза выпучив, сама на них бе-

жит, копытами снег так и стегает, так и стегает, зубы-то скалит — страсть!

Тут баба Ганя подолом руки отерла, кликнула:

— Давай обедать, старый! И ты, темный, тож! Угощу медвежатиной копченой.

— Ох, баба! — укоризненно сказал дед и шепнул Белке: — Она у меня ведь революционерка. Понимай это! Самое Антанту за нос водила.

И опять на весь двор рассмеялся, вспомнив, должно быть, какой-нибудь случай из лихой бабкиной молодости.

— Кто ж я для тебя сейчас, а? — спросил он лукаво. — Старый дед Демид Бегунцов. И только. То по таежке потрушивает, то на лавке поохивает. Скукота! А того тебе не представить, что сорок годов назад был Демид мужик хоть куда, голова партизанскому отряду, и на весь-то Дальний Восток была ему честь и слава! Оттого-то моя Агафья в мой отряд разведчицей выпросилась и всех-то красавцев от себя отвадила! — Тут глаза у деда ясно и нежно засветились. — Вот ведь какая штука! Меня, брат, выбрала!

Который раз слышал Белка такие слова и все удивлялся: что это дед давним делом гордится? Говорили, к примеру, что красивенькая соседская Клавка в тракториста из совхоза влюбилась. Так оно и понятно — молодые оба. А какая у стариков любовь может быть? Смехота!

Однако Белка отводил глаза в сторону и помалкивал себе.

Перелил дед жир из котла в старое мятое ведерко, побросал туда пули и понес в подвал на лед.

Только дед открыл подвал, как оттуда выскочила кошка Машка. Вид у нее был потрепанный и злой. За ней, неуклюже переваливаясь с боку на бок и квохча по-куриному, бежал вороненок Карла. Догнать Машку на воле он, конечно, не мог. И то ли сердясь, то ли желая кошку утешить, Карла пригнул ей вслед носатую голову и разинул клюв. Получилась большущая красная воронка. Машка, оглянувшись, фыркнула — дескать, ну и образина!

— Карлушка... — позвал Белка.

Карла подпрыгнул, подскакал к Белке, торопливо взлетел на колено и стал щипать клювом пуговицы на рубашке. Может, от радости, а может, оттого, что любил Карла все блестящее и просто заметное или проглотить, или утащить в свой уголок в сенках, где он спал на широкой старой скамье.

Карлу весной поймал Белка. Домой утащить его не посмел. Попало бы от матери и бабки. Жалко было беспомощного птенца Белке, он и попросился с ним к деду Демиду.

Карла рос быстро. Стал он теперь не меньше взрослой вороны. Но все еще считался дитятей, потому что летать не умел, пищу сам себе добывать не мог и глаза у него были мутно-голубоватые, как у новорожденного котенка. Есть он просил без конца, с возмущенными воплями таскаясь следом за дедом Демидом или бабой Ганей. Они терпеливо совали в красную воронку его клюва то намоченный в воде кусок хлеба, то толченую картошку. Карла судорожно глотал, а потом некоторое время сидел, притихнув.

Бедокурил поначалу он много: сощипывал крохотные помидоры и огурцы. И хорошо знал, что делает запретное: стоило только показаться во дворе деду или бабе Гане, он удирает с грядок во все лопатки и сидел, притаившись, где-нибудь под бревном, выглядывая — можно выбраться наружу или надо сидеть, пока дед или бабка уйдут в дом.

Машку он невзлюбил сразу. Карла хотел, чтобы она играла с ним. Машка не отказалась, и они долго носились вокруг бочки с водой, подкарауливая друг друга по очереди. Но Карле хотелось, чтобы кошка в игре подчинялась ему. Машке это пришлось не по вкусу, и когда Карла ухватил ее за кончик хвоста и принялся было таскать по двору, Машка ловко извернулась и хорошенько стукнула вороненка по голове. С тех пор дружбе их пришел конец.

Зато со старым мудрым псом Вертаем Карла ужился отлично. Может быть, потому, что Вертай терпеливо сносил неуклюжие игры вороненка, а если тот очень уж надоедал ему, поднимался со вздохом и уходил.

Белку Карла любил. Конечно, он не понимал, что Белка спас его от лихой, голодной смерти. Но то, что Белка за него заступился, Карла знал отлично.

Вот и сейчас, когда дед Демид, сердитый, выскочил из подвала и, схватив хворостину, закричал: «Пролил, плут, банку сметаны! Я тебе!» — Карл тотчас прыгнул с Белкиных колен, юркнул за спину, присел там, прижался.

— Ну уж ладно, — сказал дед Демид, смеясь и отбрасывая хворостину. — Пускай думает, что ты его спас.

А Карла уже выбрался снова к Белке на колени и, от благодарности прикрывая глаза, заклохтал, нежно постукивая клювом по раскрытой Белкиной ладошке.

— Так я хочу, чтоб он среди всех меня в лесу узнал, когда вырастет и улетит, — сказал Белка.

— Учи его, учи — это хорошо, — соглашался дед Демид. — Хоть и зовут обычно каждого дурака вороной, ворону зато душой не назовешь. Себе на уме, чертовка хитрющая!

— Долго вы там разговоры разговаривать будете? — крикнула баба Ганя.

Дед Демид посадил Карлу под большой ящик, где стояло деревянное корыто с водой.

— Пускай поскучает, а то поесть не даст. Летает уже мало-мало...

Изба у деда Демида была большая, без перегородок. Пол выкрашен желтой краской. В углу, где у Сапожковых иконы, висел большой портрет Ленина, украшенный шитым полотенцем. А по стенам картинки из журналов «Охота и охотничье хозяйство» и «Огонек». Всякие на них звери, озера с утками, гибель «Варяга», Василий Теркин на привале. Дед Демид менял их каждый раз, как получал новый номер журнала. Старые же картинки он отдавал бабе Гане, и та обклеивала ими крышки сундуков изнутри.

Посреди избы стоял длинный стол под голубой клеенкой, а на нем в крынке цветы. На окошках же баба Ганя больших цветов не любила. На подоконниках стояли маленькие алоэ в баночках из-под консервов — дети того огромного колючего куста, что рос в солнечном углу рядом с зеркалом.

И фотографии по стенам в рамках бабка не признавала, говорила, что культурные люди под одно стекло столько снимков не напихивают. Только и висело над кроватью три портрета — деда с бабкой в молодости, их старшего сына, что погиб на фронте, и младшего. Он, отслужив в армии, остался на Дальнем Востоке и стал знаменитым тигроловом.

Баба Ганя на портрете на себя не похожа. Изображена она там до пояса, в кожаной куртке, с пистолетом и в кепке, как парень. И получилась она чересчур уж красивая. Разве только за храбрость и могла выйти замуж такая за маленького Демида со смешным густым чубом до глаз.

Баба Ганя выставила перед Демидом и Белкой кусок копченого медвежьего окорока, огурцов миску. Принесла в большой чашке яичницу с салом. А под конец душистую жирную уху и крынку простокваши. Деду подала полстакана водки, а к ней — нитку вяленой кусочками стерляди.

Еда у Бегунцовых всегда была вкусная, и варили ее так

много, будто в семье не двое, а пятеро. Не то что у Сапожковых. Вроде и деньги есть, и хозяйство справное, а готовит бабка щи да борщи, да картошку с селедкой дает на второе. Для Вианора только пироги печет да кур жарит.

Дед Демид это знал, старался Белку накормить повкусней. И сейчас оторвал полснизки вяленой стерляди, придвинул миску ухи и сказал:

— Вот ешь и уху чтоб изничтожил. Тогда тебе яишни положу. Я сам-то люблю яишню с простоквашей — здоровая пища! Чтоб яишня была горячая, а простокваша со льда.

После ухи Белка сказал:

— А у нас опять Вианор.

— Вот росомаха! — вскричал дед Демид. — Видал я его — ест, как росомаха, пока живот до земли не повиснет, аж ноги с места не сдвигаются! И ходит как росомаха, черт кривоногий. Небось опять ему бабка твоя курицу жарила?

Он оглянулся на жену. Та, поджав губы, молчала, насаливая огурец, разрезанный вдоль. Тогда дед откашлялся и упрямо проговорил:

— Плохой зверь росомаха. Я его не уважаю.

Тогда баба Ганя голос подала:

— Будто он росомаху знает!

Белка сказал почти шепотом:

— Знаю...

Баба Ганя доела огурец, поставила на стол ситцевый кулек с кедровыми орехами:

— Ты у нас когда был последний раз? Назад дней пятнадцать, однако?

Плакал тогда Белка. Что-то с ним сделалось в те дни. Старухи приходили со всей округи, молились ночами. Белка с ними не спал, тоже молился, слушая истории о привидениях и разных божественных чудесах. Стали в сумерках ему страхи мерещиться и все плакать охота была. Как заверещат вокруг него старухи, такой Белку страх берет — и слезы... И кажется ему, что налетят на него сейчас старухи и разорвут своими крючковатыми пальцами. Одолевает его тогда болезнь: кружится голова, все плывет перед глазами, слабость бьет по ногам, и кажется ему, что упадет он сейчас и умрет.

Сколько раз бабка говорила матери, что надо Белку сводить к врачу, а мать противится: нечего лечиться у нехристей.

Однажды Белка сбежал с вечернего молебна, приплыл к деду Демиду. Это и вспомнила теперь баба Ганя.

— Боюсь я его, — ответил Белка.

— Вианора, что ль? — спросил дед.

— Бога... — прошептал Белка.

Бабка Ганя тяжелыми ладонями хлопнула с досадой о коленки и ушла во двор.

А дед закурил и сказал:

— Мала у меня грамотенка, парень. Ничего тебе по-научному объяснить не могу. Жалко мне тебя.

Белка щелкал орехи, смотрел в стол, и опять слезы жгли глаза — никто, ну никто ему помочь не может, а сам он бессильный. Вот сейчас придет домой, бабка надаст ему подзатыльников, толкнет к иконе. Глянет Белка в злые глаза черноликого бога. И опять страх ползет к сердцу.

Дед Демид погладил Белку по голове легкой ладошкой.

— Ах ты, перо куричь! Грызешь-то орехи совсем как бундук — повдоль.

Провожал дед Демид его до протоки, чтоб заодно взять из садка рыбу. Карла неловко качался на Белкином плече, припадая то на грудь, то на хвост. Взлетал несколько раз, делая круг над землей низко-низко, и, радешенький, опять садился к Белке на плечо.

— Как-то я всю свою жизнь ничегошеньки не боюсь, — говорил дед Демид. — Ни бога, ни черта. И громом меня за это не разбило. Раньше я на тигра ходил у себя на родине. Ходил — не боялся. Опасался, конечно, но интерес большой испытывал. Пятьдесят стукнуло — перешел на легкую работу: медведя бью, сохатого, пушного зверя промышляю. Вот уж семнадцать лет как в ваших краях осел. Итого мне шестьдесят восьмой. Стар, скажешь? Ан нет. Еще не совсем стар, на свою нынешнюю легкую работу вполне гожусь. Однако подумываю — ну десяток лет прохожу, ну пусть пятнадцать. Срок мне уже обозначен. Мне бы и богу молиться, чтоб меня после смерти на сковороде не жарили. Да не могу. Жить хочу вот так свободненько, легонько, белому свету радуясь. На что мне это рабство? Я через всякое прошел рабство и все отринул. Как славно, парень, когда дух-то твой свободный, а!

Попрощался Белка с Карлой и отплыл от берега. Весла неслышно окунались в воду.

А дед Демид стоял на берегу, забыв про садок, про ковылявшего по песку вороненка. И Белка хорошо представлял, какие у деда сейчас озабоченные и грустные глаза.

Плывет лодка, плывет, покачиваясь, виляя тупым толстым носом то к берегу, то вдруг от берега. Неровно гребет расстроенный Белка, и оттого старая надежная лодка непослушна ему, сердито-неуклюжа, а весла тяжелы. Капли тяжело отрываются от лопастей и тонут, булькнув коротко и звонко.

Громко и не в лад, как подвыпившие, распевают все четыре поселковых репродуктора — у школы, у клуба, у конторы и у палаток геологов. Не в лад потому, что один поставлен на горе, другой под горой, а два и вовсе за глубоким логом у леса. Первым запекает ближний к Белке репродуктор у палаток. Они стоят в сосняке, в стороне от поселка. Оттуда видны только их остроконечные макушки, узкий флаг на шесте и радио-антенна.

За ним во все свое белое горло оглушительно начинает вопить, будто испугавшись, что запоздал, клубный динамик. Клуб на Нижней улице поселка, и с реки хорошо видать его высокую шиферную крышу, залитую вечерним солнцем, широкое крыльцо с красной звездой и все лозунги, что с правой стороны к простенкам прибиты. С левой густо разрослись черемухи, и простенков с лозунгами не видать.

И уже, как запоздалое эхо, откликаются репродукторы школы и конторы.

Там же и пристань — неказистый дебаркадер линялого голубого цвета с большой желтой вывеской: «Ольховка». Катерок и баржа, на которой сушится шкиперово белье. Штабель ящиков с продукцией крохотного ольховского заводика — сковородками, ступками, пепельницами, чугунами всяких размеров и куча болванок. Ждут, должно быть, не сегодня-завтра караван за ними.

Белка знает, что заводик много раз хотели закрывать, но все тянули, а теперь уж второе лето в хребте, что вздымается над Ольховкой, копаются молодые бородатые парни. Они ходят в клетчатых рубашках, курят коричневые трубки, поют песню про какую-то бригантину, в любую погоду лезут с молоточками в горы, торчат у своих буровых вышек и упорно расхаживают по берегу с треногами. На треногах стоят какие-то аппараты, сквозь них парни что-то высматривают, будто прицеливаются, а потом записывают в тетради.

Возились парни не напрасно. Весь поселок говорил о том, что на новых местах и в старых заброшенных шахтах, которые

служили заводику давным-давно, еще при царе, столько железа нашли, что быть на месте таежной Ольховки большому заводу.

Белкина бабка в это вовсе не верила. Она со своей талинковой палочкой сколько раз ходила и вдоль берега, и в глубь тайги. А придя домой, рассказывала с удовольствием и удовлетворением:

— Так, значить, милые мои Даша и Тимоша. С той стороны раз гора, и два гора, и три гора. Самую-то дорогу к нам Моховой Леший загораживает. Не иначе как самим господом поставленный. А горы все каменные, неодолимой породы, а за ними до района, до Большухи, еще таких гор тридесять. А проплыви-то вдоль берегу — скалы так над рекой и висят, так и висят до самого устья, а это тебе не три шага, а три сотни верст. А напротив-то все болота, болота, ах ты господи! И в глубь болота, и вдоль болота вперемежку с тайгой. Хороша кладезь в горах наших, да дорога к ней недешева. Вроде как в пословице: за морем телушка — полушка, да перевоз дорогой. Встанет им наше железо поперек горла, и будем мы тут жить-поживать спокойненько.

Ликовала бабка, крестилась на иконы и шла во двор. Глядел Белка, как стоит она на крыльце, уперев руки в бока, грудью вперед, глядит на далекие и близкие горы, хитро шурясь, и тонкие губы ее ломаются и дрожат в насмешке. Хозяйка всему! Потом властно шуганет петуха с забора, похлопает телку по рыжей спине, пошарит ногой с краю огуречной грядки, сколько там огурчиков понаспело, не пора ли первые мариновать. Довольная! А после возьмет метлу и, тихо улыбаясь, начнет мести и без того чистый двор да напевать при этом тонким голоском какую-то непонятную песню. И кажется тогда Белке, что и верно — веки вечные будет шуметь тайга, да потихоньку дышать заводик, да орать воробьи над низкими грядками. И сквозь заросли герани на окошках будет полным-полно набиваться в горницу комаров, а старые часы с кукушкой — отбивать из часу в час медлительное сонное время, хозяин которому — тонконосый рыжий бог с длинными глазами, сурово следящий за каждым Белкиным движением.

Виделись Белке как будто сверху горы каменные, болота топкие, как в древней сказке. А посредине — крохотный пятючок с их Ольховкой, по которому бегают бородатые парни с молоточками, треногами, здоровенными метрами.

И казалась тогда Белке пустой суетней вся их беготня.



Тем более, что ничего на месте этой беготни на пятачке среди гор и болот не появлялось, а только белые коротенькие колышки, которые подходили к самой церкви вплотную и к Белкиному огороду.

...Хрустят уключины, как занемевшие руки в локтях, — застоялась лодка на берегу. К сухому смоляному днищу липнут подошвы. Сильно пахнет водой, мокрой щепой, папоротником, разомлевшим в парной сумеречной тайге. И только подумал было Белка о том, что послезавтра самый веселый в году праздник — день Ивана Купалы, как из-за поворота реки, басовито гудя, показался большой белый пароход с длиннющей баржой. Белка придержал лодку — такой пароход еще ни разу не приплывал в их Ольховку.

Но Белка вовсе рот открыл, когда увидел, что баржа не одна, а целых пять. Тут вдруг кто-то заорал на берегу. Это парни побросали работу и мчались отовсюду к воде, размахивая руками и пестрыми косынками, которыми в зной завязывали шеи и головы. А у воды принялись они вопить и скакать еще пуще того! Пароход же в ответ начал гудеть так оглуши-



тельно и радостно, будто был живой и что-то понимал. На палубе и на баржах собралась куча ребят и девчат, они тоже махали руками и платками и кричали складно:

— При-вет! При-вет! При-вет!

Долго причаливал большой караван. Не к пристани, а прямо к берегу, против хребта, против палаток. Народ сбегался со всего поселка. Нарядный, в белом полотняном костюме, пришел директор заводика с толстой бухгалтершей, накрашившей для такого случая губы. И вообще почти все конторские пришли.

Баржи привязали к соснам, к большим валунам. Сбросили широченные тяжелые сходни. И на чистый песок, на зеленые лужайки, грохоча и рыча, съехали грузовые машины — и с деревянными кузовами, и с железными, и с кранами. Лязгая и точно боясь, осторожно сползали тракторы.

Последним шел в караване плавучий кран. Сначала он задумчиво глядел в воду, потом вдруг спохватился и завертел длинной своей шеей — поплыли над сходнями здоровенные ящики.

А ребята и девчата тем временем таскали к палаткам какие-то узлы, чемоданы, битком набитые рюкзаки. И уже трещал по хребту сухостой, пахло дымом и каким-то вкусным варевом. В ранних сумерках полыхали костры. Приехавшие с гоготом и визгом, никакого внимания не обращая на комаров, купались и дурачились в воде, танцевали на берегу, пели песню про черного кота и еще другие песни, такие же смешные и не совсем понятные. И не слышно было ни клубного горластого динамика, ни тех, что в логу. Только кукушки как сумасшедшие раскуковались вперегонки.

Белка пришел домой поздно, уже потемну. Рябка завизжал, ткнулся носом в его колени. Белка чуть не упал, запнувшись за ногу спящего у крыльца Натуды-Руды. Две рослые старухи, Акимовна и Якимовна, в черных платках сидели на крыльце, подперев кулаками щеки, и глядели молча туда, где горели костры и светились огни на пароходе и баржах.

Анна, сутулясь, стояла над дымокурором — старым мятым ведерком — и потихоньку кидала в него то пучки травы, то ветку. Дым из ведра валом валил. Тут же, сложив на животе руки, стоял Вианор. Лица его Белка разглядеть не мог, но понял, что и он смотрит на реку.

Акимовна и Якимовна, взмахнув руками, разом закричали:

— Пришел Тимоша-то, Захаровна, при-шел!

Вцепились в него с двух сторон и потащили в избу.

Там уже было полно старух и баб с ребятишками, а под образами сидел хмурый отец Алексей и пил из высокого стакана до черноты густой чай. Давно не был он у Сапожковых. Что-то заставило отца Алексея прийти к ним.

Бабушка всегда собирала посиделки по большим церковным праздникам. Пили на них чай с ягодами либо с вареньем, весной ели черемшу с квасом, зимой картошку с солеными грибами. Разговаривали о том о сем, а больше о привидениях всяких да о колдовстве. А иногда кто-нибудь читал Библию. С тех пор как в их местах появился Вианор, читать Библию стал он. Из-за Вианора веселые посиделки с таинственными рассказами очень переменились. Вианор не любил слушать рассказы. Называл их баловством. И таинственно говорил, что истинно христианская душа должна радеть о большем.

— Что же вы имеете в виду, уважаемый? — спрашивал тогда отец Алексей. — Если одухотворенная человеческая суть видит в обыденном больше, если господь освещает душу пред-

чувствиями и они облакаются у некоторых в знаки мистические — в видения, так я не вижу в том ничего нелепого. Мир непознаваем, потому что бесконечен, и в этом — неземная воля. А из этого следует, что и называемое вами сказками — естественно! Это и есть самое большее!

И они начинали спорить о непонятном, говорить непонятные слова, из которых становилось ясно, что отец Алексей мыслит возвышенно, а Вианор говорит о земном — о проводах, которые опутали всю землю, предвещая конец мира, об очередях за шерстяными кофтами, и о том, что хлеб теперь пекут не такой, чего в нем только нет — и горох, и кукуруза. И много о чем еще говорил Вианор, доказывая, что никакого совершенного общества на земле быть не может, потому что человек суетен, жаден и думает только о себе.

Потом Вианор смеялся, утыкался лицом в сложенные на столе калачиком руки — только торчали глаза, желтые и злые, как у рыси. И говорил победно:

— Иконы иконами — это образ божий, но он только в храме. Оглянитесь! Дух его за нами на каждом шагу...

Это очень всех пугало. Старухи начинали креститься. А отец Алексей огорчился. Оттого, наверное, что сам он ничего такого страшного не говорил, никого не пугал и до прихода Вианора его прихожане жили в благости и умиротворении. Отцу Алексею, наверное, казалось, что теперь все будут слушать не его, а Вианора, и уходил он от Сапожковых угрюмый.

Вианоровы рассказы о духе, который не живет в чертогах, а находится везде, не нравились Белке. Привычный бог сидел если не в церкви, так на небесах, а оттуда он, конечно, не всегда мог увидеть, что Белка делает. Вианоров же дух стоял всегда за спиной. Это было неприятно и нечестно.

Был в Ольховке мальчишка, Сережка Гвоздили́н, — первый среди мальчишек силач. Очень любил он похвастать своей силой. То одного отлупит, то другого. Все боялись Сережку. И невозможно было от него отвяжаться, если Сережка захотел тебя поколотить. Куда-нибудь пошел, а он — сзади, будто из-под земли. Физиономия ехидная, злая. Прищурит свой цыганский глаз, схватит длинными руками и по носу отщелкает с оттяжкой, не торопясь, и по макушке, и уши натрет, и еще под зад пинок даст. А потом — руки в карманы и как ни в чем не бывало идет, посвистывая. Даже не оглянется. И кто из взрослых его хорошо не знал, все говорили: «Ах, какой милый,

вежливый мальчик!» Очень походил Сережка Гвоздили́н на Вианорова бога.

И когда Белка пришел домой и увидел там отца Алексея, он даже обрадовался. Раньше Вианор отца Алексея как будто побаивался и больше молчал при нем.

Старухи и бабы лузгали семечки и трещали как сороки. Не о привидениях, как всегда, а о прибывшем караване. Но только Белка перешагнул порог, разом смолкли. Из кухоньки вышла бабка с калачами на тарелке и встала перед внуком. Белка втянул голову в плечи. Мать, платочком утерев облепленные подсолнечной шелухой губы, крикнула со скамейки:

— Где тебя лешак носит мне на погибель!

Но бабка сердито глянула на дочь и сказала ласково Белке:

— Не бойся, Тима. Расскажи-ка, внучек, голубенок мой, все, что видал, все-все расскажи!

Акимовна и Якимовна двумя черными горами возвышались над Белкой, умильно смотрели на него. Зато цапучие руки старух совсем неласково держали Белку за локти, и он никак не мог освободиться. За бабкиными добрыми глазами тоже было что-то недоброе; Белка принял это на свой счет и обиделся. Он хорошенько тряхнул локтями — Акимовна и Якимовна сразу отцепились. Белка, нахохлясь, прошел к столу и сказал хрипло, не поднимая от расписной клеенки глаз:

— Я есть хочу!

Бабка налила ему молока в кружку и придвинула два теплых калача. Белка ел и, все еще сердясь, рассказывал, нарочно прибавляя, — и машин получалось вдвое больше, и были они такие громадные-прегромадные, такие могучие, что хоть сейчас пройдут сквозь хребты, как ножик сквозь мокрую глину. А парни все тоже были настоящие великаны, и мускулы у них — во! Все это он говорил назло Вианору, который воображал, что он на свете всех сильнее и больше других знает.

Было тихо. Но вдруг раздался голос Вианора, непривычно жесткий:

— Страх говорит в отроке! — И уже мягче: — Да простит его господь.

Он тоже сел за стол и сказал улыбаясь:

— Обыкновенные машины, чехословацкие «Татры», «ГАЗы», самосвалы и бортовые. А парни как парни. Работяги и нахалы. Обыкновенная современная молодежь...

Было удивительно слушать от него мирскую речь. Белка

даже жевать перестал. Ему и в голову раньше прийти не могло, что Вианор разбирается в машинах. Однако он заметил, что губы Вианора вздрагивают и глаза на рыжем лице беспокойно скачут. Даже не оглянувшись на отца Алексея, Вианор сказал затаенное:

— Ольховка-то еще ничего бы! Пусть уж строят, пусть живут! Но она за собой, как вода в половодье, потянет всю округу. Все засосет новая Ольховка, как водоворот в пороге. Возрадуется люд! Пойдет дороги строить, города возводить. Возомнят себя превыше бога, и тихая, покаянная жизнь рухнет! — Тут вскочил Вианор, воздел руки. — Не стало богу места, не стало! Загнали его, как рябчика в тайгу! А он, все терпеливый, все прощающий, молчит! Молчи-ит! Что же будет, когда отвернет бог лик от предавшего его человечества?

Все смотрели на Вианора молча, и тогда он сказал:

— Ведь как будет? Подъедет, Акимовна, к дому твоему, где ты родилась и мать твоя жила, бульдозер. И срежет твой дом с земли, как трухлявый гриб. И пойдет дальше. И будет на месте улицы, где ты бегала девчонкой, ровное местечко. А потом тут выстроят каменный дом и натолкают вас туда, как кур в курятник. И станешь ты не продавать огурчики, а покупать...

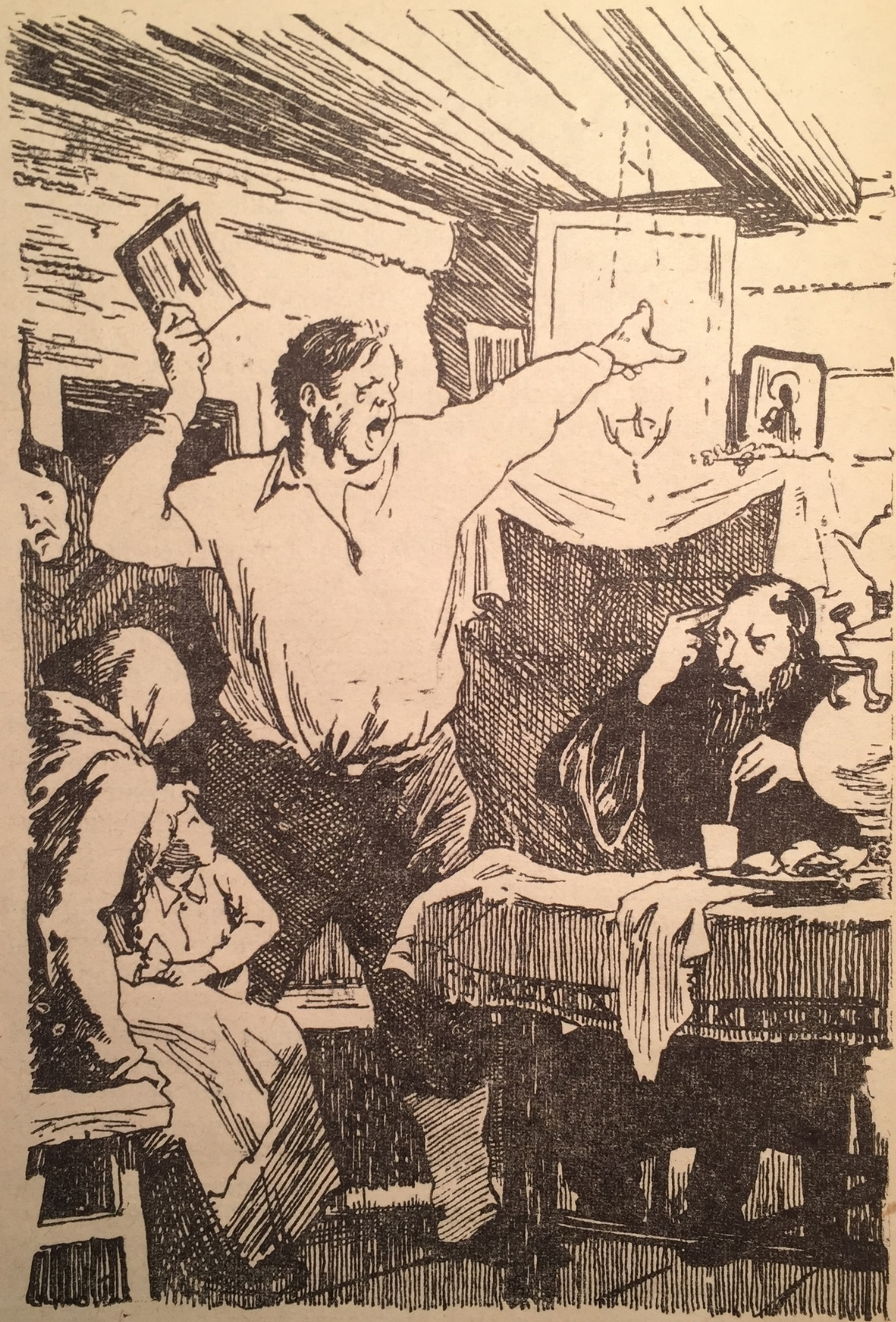
Акимовна охнула. Где же это она столько денег возьмет? Да и куда без огорода! Загоревали старухи. Если бы просто так рядом город строили — куда ни шло! Даже выгодно — населения будет больше, доход от огорода хороший. Можно было бы участки еще прирезать — возле горы места много. Вианор слушал и всех зорко разглядывал.

Тогда отец Алексей, который молча пил чай, вмешался:

— Неистов уж ты больно! Все в руке господней. Сетовать на события — значит на бога сетовать! А это грех непростибельный.

Он встал, взял шляпу и трость и вышел спокойно — как будто ничего не случилось. Некоторые старухи тоже притихли — раз батюшка не волнуется, чего им раньше времени пугаться? Белка видел в окно, как отец Алексей потрепал по голове Рябку у крыльца и не спеша пошагал к калитке.

— А-а, — сказал Вианор, — тягостно ему нас слушать! Что с церковью будет, вы подумайте! Сгинет она! Притиснут ее к горам, старые люди этот мир покинут, а молодые к порогу храма дороги не вспомнят, даже те, кто сейчас в него заглядывает иной раз. Они в кафе пойдут, в ресторан, в театрик, на лекции



— А он, все терпеливый, все прощающий, молчит!

станут бегать! А в храме склад сделают. И придется вашему батюшке на старости лет вокруг этого склада сторожем с колотушкой ходить.

Бабка ужаснулась:

— Как ты о батюшке говоришь? Вон в самой Москве храмы стоят — и ничего!

Тут с Вианором что-то случилось. Никогда Белка не слышал, чтоб молились криком. Вианор же, оборотясь к иконе, кричал о том, как он богу верен, что в нем — истинная вера, и готов он радеть за нее и жертвовать собою, что верующий должен быть рабом одного господа, ни перед кем головы не преклоняя более, биться должен за божье дело из последних сил. Иначе не вырастить уже в боге таких, как Белка.

И стал он Белку трясти за плечи и плакать. От крика, от того, что его трясли и что противные Вианоровы слезы падали ему на лицо, душно стало Белке, закружилась у него голова и в глазах стало темно...

5

Проснулся он за полночь, должно быть. Через окно в избу светил тоненький чистый месяц. Блестел на столе стакан с водой. Длинные серебряные блики лежали на боку самовара. От скатерти пахло хорошо мытым полотном. Ржаво скрипел маятник дешевых старых ходиков, будто кто-то коротенько поцарапывал по железу.

Белка представил себе картинку на ходиках: голубоватое небо, зеленый дуб с толстохвостой румяной русалкой на ветке, серого пухлого кота на цепи.

«У лу-ко-мор-р-рья... у лу-ко-мор-р-рья...» — уютно скрипели ходики, как чья-то древняя добрая бабушка, которая вот-вот заснет.

И Белка, тепло вздохнув, порадовался, что сломались часы с неусыпной кукушкой, похожей на воробья. Она все время будто торопила Белку, злорадно вылезая наружу через каждые пятнадцать минут:

«Ку-ку! Не сделал арифмети-ку! Ку-ку! Получишь двой-ку! Ку-ку! Не помыл крын-ку! Рассердишь баб-ку! Ку-ку!»

Но тут Белка удивился. Что это он спит на голой лавке и под головой у него старый материн тулуп?

Он тихонько приподнялся. Сильно закружилась голова.

Тошнота встала в горле. И тогда Белка вспомнил, что произошло здесь вчера. Он опустил босые ноги с лавки, отхлебнул воды из стакана. Вода была теплой, дурнота не прошла. И Белка, держась поочередно за стол, за спинки стульев, за косяки дверей, вышел на вольный воздух.

На крыльце присел. Тотчас, звякнув цепью, вылез из будки Рябка, подошел. Белка ничего ему не сказал, но Рябка понял, что ему плохо. Он несколько раз лизнул Белку в лицо и руку горячим языком, потом, неловко скользя лапами, забрался сбоку на крыльцо. Лег, вздохнув, рядом. Голову положил Белке на колени.

Тихие голоса возбужденно переговаривались под черемухой возле забора. Белка прислушался. Спорили отец Алексей и Вианор.

— К чему тебе все это? — говорил отец Алексей. — Что тебе неймется? Жил бы, как я. В достатке, в довольстве, спокойно. Кончил бы семинарию, приход получил бы. Жену завел. Семью. Нет ведь! Бередишь чужие умы, бродишь, людям покоя не даешь.

— В истинного бога я верую, — сказал Вианор.

— Послушай, — взмолился отец Алексей, — уходи от нас! Покинь мой приход! Найди другое место. Что тебе, места больше не найдется? Не мешай мне жить.

Вианор помолчал. Потом ответил, и в голосе его послышалась насмешка:

— А мне тут больно по душе. И никуда я не уйду.

— Ну, тогда!.. — вскричал отец Алексей.

— Что — тогда? — спросил Вианор таким холодным голосом, с такой угрозой, что у Белки дрогнули колени. — Да, бог велит мне призвать людей на жертву самоотречения, чтоб люди убоялись господней силы, — сказал Вианор. — И я призову. Найдется самоотверженная душа. И ты не помешаешь мне, нет!

— Недобрая душа у тебя, спаси господь, — промолвил священник, и голос его дрогнул.

— Молись лучше о своей душе, — посоветовал Вианор.

— Безгрешных людей, конечно, нету... — озабоченно сказал отец Алексей.

— Вот-вот... — продолжал Вианор, — всякими путями к господу идут. И не тебе грозные мне слова говорить. Я, батюшка, ежели возле человека задержался — все-е про него знаю. Такой у меня глаз зоркий...

— Что за речи ты ведешь? — сказал отец Алексей с тревогой. — Как ты говорить со мною так можешь? Сердце мое открыто господу, и нет такого, что бы он обо мне не ведал.

— Он-то, всеблагий, про кого не ведает? Он наши пути с колыбели в руке держит. А вот люди, люди... — Вианор засмеялся.

Очень рассердился отец Алексей:

— Не хочу, не буду нечестивые речи твои больше слушать! Не знаю тебя, не ведаю более...

— Вот и хорошо, и славно... — сказал Вианор. — Ты уж меня не трогай, батюшка.

Стуча сапожками, отец Алексей торопливо вышел из-под черемух, пошагал, сутулясь, вдоль выбеленного месяцем переулка. Вианор вздохнул:

— Сподоби, господи, в вечер сей без греха сохраниться мне!

Тогда за забором раздался шорох и опять кто-то зашептал торопливо и горячо.

— Ладно же! — Голос Вианора прозвучал резко. — Терпения у тебя нету!

Скрипнули доски забора, стукнули по ним сапогами, и вслед отцу Алексею так же торопливо прошел Вианор с высоким человеком. Что-то в нем почудилось Белке знакомое. Шли они таясь. Человек прошел вперед, Вианор отстал, а выходя из переулка, ступил в тень. Наверное, кого-то переждал. Мимо, хохоча, пробежали девчата. Тогда уж Вианор скользнул на улицу.

У Белки противно задрожали колени, тошнота стиснула горло. Он давно замечал, что бабка побаивается Вианора. Для матери его слово — закон. Но он никогда не думал, что Вианора может испугаться отец Алексей! Почему он вернулся, зачем ждал странника и что за такие загадочные слова сказал ему Вианор? Белка представил себе глаза странника — диковатые и липкие. Если Вианор смотрел — кусок вставал в горле. Белка подумал, что в последнее время глаза эти все чаще останавливаются на нем.

А теперь странник крадется куда-то. А мать спит дома так тихо, будто и не спит вовсе, а прислушивается.

Откуда приходит он и куда уходит? Почему, когда нет Вианора, нет такого страха перед богом? А сейчас во всем столько зловещего — и в мерцании звезд, и в ночной тишине. И вдруг Белке померещилось, что тополь вовсе не тополь.

а кто-то с раскосмаченными волосами, в плаще, шевелящемся по ветру. А под плащом руки ходят. Сейчас выскользнут на лунный свет худые ладони и схватят Белку. От страха вспотел он, глянув в небо. Почему от всех неведомых тайн, которые есть у взрослых, должно быть плохо ему, мальчишке? Почему они не отпустят его, не оставят там, где нет страха, где прыгают по дорогам веселые звонкие мячи, где можно удить рыбу, когда охота, и валяться на песке под солнцем? В глазах Белки искрошился, изломался месяц, истаял тонкими разноцветными лучами. Наплывали на месяц плотные облака, похожие на толстых черных рыб с серебряными гривами. В глубине туч ворочалось что-то еще более черное.

Жалкий, одинокий, протянул Белка руки к облакам, к тополю:

— Господи, будь добренький, прости меня, господи! Прости меня!

Рябка тихонько и жалобно заскулил, трогая Белку твердой лапой: мол, что ты, что ты... Будто чуяло собачье сердце недоброе. Белка все шептал свою маленькую молитву, пока месяц не спрятался в брюхе самой большой тучи-рыбищи. Стало темно. И тогда, не в силах более противиться одиночеству и страху, побежал Белка, спотыкаясь, по улице на слабых ногах, побежал туда, где качалась в тальниках лодка, где через протоку стоял возле тихого озерца домик деда Демида.

Бежал Белка недолго. Сердце стучало сильно. У попа дома он сел было на скамеечку и в темноте так и толкнулся руками в чье-то мягкое плечо.

— Господь с тобой! — услышал он ласковый голос попадьи. — Тимоша! Куда тебя несет в такой час!

И вдруг от обычного голоса ее стало спокойно. А попадьа обхватила Белку теплыми руками и повела в дом.

— Батюшка мой опять, должно, до зари у старосты Микулина пробудет, господь с ним! Все какие-то дела да дела в последние дни. Как понавезли народу, так ровно все с ума посходили. Даже батюшка мой, такой всегда спокойный, и то равновесие потерял. Сижу вот и жду его каждый вечер чуть не до утра. Не любит он, чтоб я без него почивала.

В большом пятикомнатном доме отца Алексея, стоящего прямо у тайги, за церковью, было очень тихо, пахло новой мебелью, цветами и свежим горячим творогом.

Матушка Таисья зажгла на кухне лампочку и охнула:

— Пресвятая дева, да на тебе лица нет!

Она хотела накормить Белку, но он отказался. И тогда попадья стала укладывать его спать. Тут же, на кухне, на широкой кровати. Эта кровать всегда стояла приготовленной на тот случай, если забредет к батюшке какая старушка, чтоб заказать молебен.

— Кроватка, Тимоша, чистенькая, я на нее кого попало не кладу. Если уж старушка какая аккуратная или старичок из хорошего дома. Мы тут всех знаем. Так что не брезговай.

Потом села напротив с новым рушником, надетым на большие пальцы. Один край еще был чистый, а на другом красовались синие васильки, колоски золотые, алые вишни, птицы с длинными хвостами и непонятная надпись.

— Видишь, вышиваю рушничок для богородицы. Прежние-то не очень яркие... А я хочу, чтоб ей было как в лесу — с цветами, с птичками, с травами. Страдалица ведь она. Благого царя благая мати.

Но матушке Таисье не столько полотенце приспело вышивать, сколько хотелось узнать, что это с Белкой приключилось. И она спросила жалостливо:

— Уж не мать ли побила?

Белка закрыл глаза, чтоб не отвечать. Тогда попадья сказала сочувственно:

— Суровые они у тебя. Вера у них какая-то тяжелая, никакой в ней радости.

Матушка Таисья казалась Белке доброй. Она говорила, что плохих людей на свете нет. Есть сердечные и есть суровые. Ей было лет сорок шесть. Маленькая, широкая, с лицом всегда лучащимся добротой и радостью, она с утра до поздней ночи хлопотала то дома, то в церкви, наводя везде белизну и блеск. В крошечной церковке было так уютно, так по-домашнему, только что пирогами не пахло. Она была внутри вся зеленая и желтая, как июньский луг. На каждой иконе висело белейшее, искусно расшитое полотенце с длинными кистями. И все лампочки, все подсвечники блестели, как елочные игрушки. И даже лица святых казались не такими мрачными, как на иконах в доме Сапожковых.

Должно быть, Белка проспал долго. Ничего не привиделось ему во сне. Открыл он глаза, когда раннее солнце голубовато светило в окно, мычали коровы, пастух дудел и щелкал бичом, а отец Алексей сидел за столом и пил чай. На сундуке рядом притулились двое — старуха и долговязая мокроносовая девчонка с заспанной физиономией. Девчонка все шмыгала, покаш-

ливала, утиралась худым кулаком, завистливо зыркала на Белку любопытными белесыми глазами.

Белка загордился, но сделал вид, что опять уснул, и засопел по-хозяйски.

— Так, значит, батюшка, у меня к тебе шибко важное дело.

— Слушаю, мамочка,— сказал отец Алексей, не оборачиваясь и жуя,— очень внимательно слушаю.

Он всех женщин называл мамочками, а всех мужчин папочками, и это у него так сердечно, по-свойски получалось, что просительницы и просители живо приободрялись и выкладывали все начистоту. Приободрилась и робевшая старуха.

— Стал быть, младенчика мы крестить привезли—это раз. А потом телушка заболела у нас,—ха-ароша телушка, симментальской породы! Чичирвет и чичирвет—совсем зачахла! Из носу каплет, поила не берет. Молебен Флору и Лавру заказать думаю, и к тому же, на всяк случай, прочитай молитвицу святому мученику Трифону. Сад у нас как-никак тридцать ранет. Надо бы молитвицей-то от нашествия червей оборониться. В запрошлом году пожрали, бесово наваждение, всю ранету у нас—ни себе варенья, ни в дом доходу.

Матушка Таисья слушала, сияя лицом, и поддакивала:

— Надо, надо! Помогут святые угодники, помогут...

Отец Алексей ополоскал рот чаем и тогда уж повернулся к старухе. Некоторое время смотрел на бабушку своими черными острыми глазами, будто думал.

— Ну, крещение, мамочка,—двадцать пять рублей...

Бабка торопливо воскликнула:

— Отдала уж матушке, за все отдала!

— Не мне это, богу, на храм,—строго сказал отец Алексей.—Молитвы все прочту, милая, но на всякий случай возьми у матушки сильный порошок, окропленный святой водой. Она тебе объяснит, как его пользоваться, чтоб усилить молитвы мои, направленные против нашествия злостных насекомых. А телку еще к ветеринару своди, выслушай его и советы все прими. Негоже от властей и науки совсем огораживаться—осудят, а ни к чему нам то. Я же молитвой вложу в ветеринаровы руки силу целительную. Иди теперь, мамочка, с богом!

Он перекрестил сухонькое старушечье личико, зарозовевшее от надежд, а заодно и сопленосую девчонку, благословил:

— Растет Маргарита, белый цвет...

Старуха умилилась:

— Имечко ее, родной ты наш, помнишь!

— А как же, мамочка, чай, я ей нарекал имя-то!

Теперь уж девчонка занозисто зыркнула на Белку: мол, вон я какая!

Только старуха с девчонкой ушли, как через порог робко ступила зареванная молодуха в пестреньком платице. Встала в дверях, перекрестившись на иконы, уткнула красный нос в платочек.

— Что с тобой, Елизавета?— спросил отец Алексей с участием, упирая ладони в колени.

— Дак...— промолвила Елизавета и пустилась в рев.— Мне на работу к восьми, а я вот к вам, батюшка... чтоб успеть...

Тогда отец Алексей вскочил, засуетился вокруг нее: и по голове-то погладил, и закрестил часто-часто, и, взяв за локти, усадил на тот стул, где только что сидел сам.

— Ах ты, мамочка, бедняжка, какая нечистая сила ододела тебя?

— Мужик мой...— басом сказала Елизавета,— избегался, ни днюет, ни ночует, детей позабыл, водку пьет! Помолился бы ты за нас святым...— Тут она сунула руку в кармашек, достала исписанную бумажку.— Бабушка мне говорила, что надо молиться святым.— И принялась читать старательно: — «Грию, Симону и...»

— Ававе,— закончил за нее отец Алексей и махнул ладонью.— Помолюсь, мамочка, помолюсь. Как рукой снимет. А только что же ты допустила до этого, а? Пойди, душенька, в бухгалтерию, на завод, попроси, чтобы зарплату только тебе выдавали мужнину да чтоб его общество-то приструнило. Ведь общество — что! Оно думает, будто само так поступает. А это бог направляет его на доброе дело. Господь бог за тебя, голубка.

Много еще говорил отец Алексей Елизавете, и матушка Таисья тоже. Та даже чайку ей чашку подала и блюдечко варенья.

Под конец отец Алексей пообещал ежедневно за Елизавету по часу поклоны бить. Уходя, Елизавета положила на стол мятую пятерку. Когда женщина ушла, улыбаясь сквозь слезы, отец Алексей воскликнул, обернувшись к кровати, как будто знал уже, что Белка не спит:

— С добрым утром, с новым большим днем тебя, отрок! Вставай да отведай-ка матушкиных оладий со сливками. Седьмой час. Всякий православный должен уже быть на ногах и славить господа.

Белка умылся, подошел к отцу Алексею под благословение, перекрестился на образа под веселыми рушниками, сел за стол. Матушка Таисья поставила перед ним целую миску пухлых лепешек и большую чашку сливок.

Сытый желтый кот лениво разглядывал Белку с печки и иногда лизал круглый бок. Своей желтой лоснящейся шкурой он был под цвет и посудному шкафу, и кухонному столу, и широким стульям, и громоздкому буфету, который видно было в открытую дверь комнаты. Белка подумал, что ночью, когда люди спят, буфет, стол, шкаф и стулья тоже, наверное, лижут лениво свои желтые лакированные бока.

Отец Алексей будто и не спешил никуда. Сидел против Белки, опершись локтем в стол, и смуглое худощавое лицо его с большими черными бровями выражало благодушие и участие. И Белка вдруг почувствовал, что он здесь не просто маленький мальчик, случайный гость, а такой же человек, как бабка с девчонкой, как Елизавета. Что его горе отец Алексей понял, что он озабочен им и расстроен. И, может, из-за него никуда не идет. И оттого Белка вдруг спросил отчаянно:

— А вы в бога всегда верили?

И зажмурился — сейчас выгонят. Но услышал спокойный голос священника:

— Отец — упование мое, сын — прибежище мое, дух святой — покров мой. Живу их заботами и не сомневаюсь. А было все, отрок, все было! И неверие было. Покоя тогда не было только. Сколько соблазнов, сколько сомнений — и ни на что ответа! Теперь знаю: всему источник — господня воля. Мне все ясно. Душа моя спокойна. Захотел бог — и случилось. Тишина, благодать в душе и никаких терзаний, что да почему. Я люблю бога. Работаю на него. И бог дает мне кусок хлеба.

Белка поднял глаза и встретил взгляд отца Алексея. Он увидел там искренность, доверие и заботу. Отец Алексей взял руку Белки в свою. Ладонь его была жесткой и крепкой, в шершавых мозолях.

— Ты мал, — сказал отец Алексей, и горячее дыхание его обнесло крутой Белкин лоб, — ты мал, и сердце твое как губка. Я знаю, оно разбухло от вопросов! Забуди их, сын мой! Никто не ответит тебе так, как ты хочешь. Расти спокойно! И чтобы



избежать сомнений — будь слепым, хоть глаза твои зорки, оглохни, хоть слух твой молод и остер. Мир бездонен и для краткой жизни твоей непознаваем. Не слушаешь меня — вся жизнь твоя наполнится неудовлетворенностью, пустой суетой. Счастье в молитве, в благостном созерцании созданного господом мира. И мир этот всегда будет казаться тебе прекрасным, если ты не станешь забивать себе голову коварными сатанинскими вопросами — «зачем?». Созерцай только прекрасное, только его впитывай, откуда бы оно ни шло — от дерева ли, от цветов, от камня или от человека. Плохое отринь, не зри его. И будешь счастлив... Верно ли я глаголю, мать моя?

— Так, так, батюшка мой! Все вернехонько! — откликнулась попадья из соседней комнаты.

— А Вианорову страху не поддавайся. Чертополох языческий в душу его семя бросил, страсти неясные, темные бурлят в нем. Нежных сердцем, подобных тебе, отринет он от церкви нашей!

Легонько поднялся с табурета священник, преклонил колени перед иконами и воскликнул с радостной истовостью:

— Возблагодарим, дитя, господа нашего за солнышко и улыбки!

И Белка пал с ним рядом и молился без страха в душе. А матушка Таисья, перекладывая что-то из кармана фартука в шкатулку, умильно глядела на них через двери, и прозрачная слеза стояла в ее голубых глазах. А потом положила она шкатулку в буфет, заперла ящик на ключ, а ключик тот на серебряной цепочке повесила себе на шею рядом с крестиком.

Затарактела телега во дворе, матушка Таисья живо обернулась, всплеснула руками, воскликнула:

— Приехали, отец мой. Двое новорожденных-то, двое! Ах ты, а за ними еще! Чтой-то сегодня гостей к нам с такого ранья, гостей, отец мой!..

И тотчас умчалась грузная, пухленькая попадья, неся гостям лучезарную улыбку и сияние глаз.

— Божьи дела зовут меня,— сказал отец Алексей, зорко глядя в окно на приезжих.— Ступай, сын мой.

Когда вышел Белка на крыльцо, отец Алексей уже стоял там, а незнакомая старуха целовала ему руку. Он же, глядя задумчиво ей в затылок, говорил неторопливо и утешительно:

— Не плачь, мамочка, не радуй сатану, поддавшись горю. Не было случая, чтобы господь не услышал дружной нашей молитвы. Услышит и теперь, за что опять не забудем мы возблагодарить его щедро плодами трудов наших.

Пожилая баба в красной косынке, надвинутой на брови, уже снимала с воза корзину с горластыми молодыми петухами. На кухонном подоконнике сидел рыжий кот и многозначительно смотрел на них.

Домой идти сразу Белка побоялся. Подумал, что надо как-то бабку задобрить. А как ее задобришь? Разве что хороших березовых веников наломать? Бабушка любит на Ивана Купала новыми, ивановскими вениками попариться. И подумал Белка, что найдет он березу с ветками, в меру мягкими и в меру упругими. Бабка его тому научила. А еще пообещает ей ночью с огоньком в тайге перелет-траву найти, чтоб ей старые ноги не мучать. Только пожелает, в любое место пере-

летит. Бабка да и Белка хорошо знают, что, пожалуй, не найти ему этой травы, а ей никуда не перелететь таким волшебным способом. Но бабка заулыбается, и всякое зло на Белку у нее пропадет. Потому что много-много лет назад был у бабки любимый муж Иван, и на Ивана Купала он ей про свою любовь сказал. А потом они вместе перелет-траву искали, чтоб умчаться из своей бедной деревеньки куда-нибудь далеко-далеко, где живут люди легко и весело. Да не нашли. А вместо этого забрали Ивана в армию, да не как сейчас — на три-четыре года, а на всю жизнь. И сложил он где-то свою бедовую голову. Осталась бабка молодой вдовой с дочкой Дарьей. Стала она сильно горевать и богу молиться и дочку тому выучила.

А про Белку теперь все старухи говорят, что похож он на деда и лицом, и нравом, а в особенности глазами. Будто дед был такой же выдумщик и сказочник. Не то что беспутный отец его, которого Белка к тому же и не видал ни разу, потому что бросил он мать, когда Белки еще и на свете не было.

Вдоль крайних огородов, упиравшихся плетнями в горы, пробирался Белка за вениками — подальше от поселка. Утренний туман влажно и горько пах дегтем. Даже у самых душистых легких цветов запах в тумане был глухой и горьковатый. Только от малинников шел такой сильный сладкий дух, что у Белки скоро начала кружиться голова.

В тишине и безветрии упруго вздрагивали толстые листья подсолнухов, будто по ним били дождины. А картофельная ботва вся стояла седая. Непрозрачный воздух будто жил, шевелился, шуршал. То туман, оседая росой, невидимо тек к реке, чтобы вдруг растаять, исчезнуть, открыть солнцу мокрый, блистающий зеленый мир.

Белка искал солнце и не нашел. Только оттуда, где оно стояло над землей, лилось тепло. Птицы щебетали влажными голосами недовольно и отрывисто, будто стряхивали при этом с крыльев воду. Гора вверху лежала темной тучей.

Белка карабкался, прыгал с камня на камень. И новый день встречал его новыми «почему».

Почему здесь гора треснула пополам, будто кто ударил ее тяжелым колуном?

Почему ручей не потек до реки в ущелье, а нырнул в дырку между камнями и исчез? Куда убегает теперь вода?

Почему любой листок так прост и так красив, что к нему

ничего не прибавишь и ничего не убавишь от него? Только гляди и удивляйся!

Почему цветы такие яркие и для чего они пахнут?

Когда Белка прижимается ухом к стволу березы, ему кажется, что под белой корой гудят могучие соки, устремляясь к вершине. Сколько же воды выпивает береза за свою жизнь?

А отец Алексей говорит, что об этом не нужно думать, что все равно никто не ответит тебе правильно. Не может быть, чтобы люди не знали, другие люди — не Белка, не бабка.

Один раз Белка заходил в клубную библиотеку для взрослых. Целых три комнаты занято там книгами. В церкви бабка щелкала Белку по макушке — наклонись, потупь глаза смиренно, молись господу. В клубе библиотекарша поглядела на него внимательно, улыбнулась и сказала: «Нравится у нас? Ну походи, посмотри». И Белка ходил, задрал голову, и трогал пальцами разноцветные книжные спинки. Пока не закружилась голова. Библиотекарша сказала, что в книгах обо всем прочитать можно и много-много узнать.

Белка шел и думал, что надо поскорее научиться читать мелкие буквы. Тогда можно будет хоть какую книжку прочитать. И еще он думал так. Если все «почему» и «отчего» — сатанинские, то выходит, у сатаны ума больше, чем у бога?

Очень смешно стало Белке от таких мыслей, он громко свистнул, далеко прыгнул и, соскользнув с камня, упал в кусты.

— Ой, ой! — воскликнул кто-то негромко и совсем не испуганно.

Белка поднял голову. На поляне, на сером камушке, стояла маленькая девушка. На ней были красные сапожки, тонкие, как чулки. Суконный вишневый сарафанчик, совсем коротенький. Белая-белая кофточка. И нитка желтых бус на высокой загорелой шее. Но самое главное — были у маленькой девушки удивительные косы. Не то чтоб очень толстые, вовсе нет. Но длинные и такие блестящие, будто выплавленные из золотой сосновой смолы. Девушка смотрела на Белку серыми глазами и была, конечно, ненастоящая. Такими настоящие девушки быть не могли. Белка протер глаза кулаками, закрыл их, открыл, опять закрыл. Сейчас она исчезнет. Сейчас Белка досчитает до трех...

— Раз... — сказал он шепотом.

Раздался звонкий хохот.

Белка посмотрел одним глазом.

— Я тебя сейчас съем,— сказала, смеясь, девушка, шагнула вперед с камушка, откинула обеими руками косы назад. Они взлетели, тускло блеснув, и упали за спину.

— Ну уж...— хрипло проговорил Белка, невольно отступая.

Девушка так и села на свой камушек, хохоча еще пуще и пряча лицо в коленках. Косы соскользнули со спины, упали на траву. Птицы вокруг от громкого смеха ее замолчали. А солнце уже было близко за туманом, стояло над лесом желтым горячим облаком.

Девушка подняла красное смеющееся лицо.

— Ой,— сказала она,— не могу! Уморил! Скажи хоть, кто ты?

Белка дернул плечом и ответил недоверчиво:

— Человек, а то кто ж...

— А зачем ты сюда пришел в такую рань, человек? — Пушистые легкие брови ее сошлись на переносье.

— За вениками. Березовыми.

Тогда девушка совсем перестала смеяться, вытерла глаза ладошками — точь-в-точь как соседская двухлетняя девочка. И проговорила серьезно:

— Станный ты человек. Берез и поближе полно. Это раз. А два — если ты в лесу боишься, зачем ходишь далеко?

— Это я-то боюсь? — возмутился Белка. — Я нисколько не боюсь! Я просто думал... я думал.... — Тут он замялся, на всякий случай сжал пальцы щепотью и сказал про себя такое заклинание: «Чур-чур меня, брысь, нечистая сила!» А громко объяснил: — Я думал, ты ненастоящая.

Брови девушки взлетели.

— То есть как — ненастоящая?

— Ну, мало ли...— смутился Белка,— мало ли...

Тогда девушка подошла к нему и протянула загорелую руку.

— Потрогай,— сказала она.

Белка осторожно, кончиками пальцев взял ее руку пониже локтя. Кожа была теплая, влажная. Должно быть, от веселых слез.

— Вот видишь, человек. Я самая настоящая. Зовут меня Наташа. По фамилии Павлова. И если хочешь, я помогу тебе веники наломать. Только сперва скажи, как тебя зовут.

— Помочь-то можно! — ответил Белка. — Однако ты не знаешь, какие мне надо. Ты уж себе ломай.

— Ишь какая сложная наука. — Девушка потянула к себе

ветку, помяла в ладонях, опустила. — Нет, не годится, жестковата. Догадываюсь, зачем тебе веники. Раз далеко пошел — ищешь березку для бани. Близ поселка березняк козы объели. Есть у тебя, конечно, бабуса. Скоро день Ивана Купала. Правду говорю?

— Правду.

Девушка зашла в чащу, зашумела, затрещала там сучьями.

Белка тихонько подглядывал: между стволами и листвой то загорался вишневой корой краснотала сарафан, то цветом ветреницы вспыхивал белоснежный рукав, то тянулась к листьям смуглая рука, тонкая и гибкая, как рябиновая ветка.

Бабку послушаешь, всякие бывают волшебницы — и русалки, и берегиня, и теплица-домовица, что на печной огонь в сильные морозы дышит, чтоб он плясал веселей и грел горячий. А еще веселушка-гуленушка, что коров по лесу гоняет, забавляясь, над хозяйками потешаясь. Про всех этих волшебниц бабке когда-то дед рассказывал. Ну, а бабка — Белке. Белка давно придумал, какие они есть на вид. И берегиня, большая да горячим солнышком балованная. Ей слаще всего лежать на бережке возле речки, да улыбочивыми губами землянички-ягоды давить, да смешливыми глазами вокруг себя глядеть. А теплица-домовица — маленькая, с рукавичку, пушистененькая вся, кошка не кошка, девчонка не девчонка. Веселушка-гуленушка же — тонкая да высокая, и если прикинется кем в лесу, чтоб ее не видели, так осиной только. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — лопаются вся листвою от тихого смеха да своей хитрости.

Нет, ни на кого из них Наташа не похожа. Сама по себе. Будто рябинка девушкой стала.

А Белка-то такой уж есть — если что сильно хорошо, сильно красиво, глядит тогда Белка, глядит — не оторвется. И думает свое: почему?

Скоро девушка вышла с зеленой охапкой.

— Ты тут всех мальчишек знаешь?

— Всех...

— Помоги мне найти одного. Белкой зовут.

У Белки стукнуло сердце. Откуда бы Наташе о нем знать? Белка отвернулся, чтоб девушка не увидела, какой он стал красный.

— Чудно! — сказал он. — Кто же тебе про этого... ну, про Белку... сказал?



Никогда еще чужьи руки не тянулись к нему так...

— «Кто, кто»...— рассмеялась Наташа.— Дед Пихто! Зовут того деда Демидом, а фамилия у него Бегунцов. Нарочно приходил к нам. И все-все про него рассказал, про Белку этого. Найдите, говорит, непременно. И вот я его уж второй день ищу.

— А что ж меня искать,— сказал тогда Белка, связывая ветки шпагатинной,— тут я...

Девушка отбросила свои ветки, быстро протянула к Белке руки, взяла теплыми пальцами за щеки, близко-близко наклонилась.

— Ты? — сказала она, счастливо блестя глазами и смеясь.— Верно ты Бельчонок?

Как будто всю жизнь только и думала, как бы увидеть его, Белку. От нее пахло березой и нежным майником. Такими ласковыми были ее руки, голос и улыбка, что у Белки вдруг перед глазами дрогнул лес и сухо стало в горле.

Никогда еще ничьи руки не тянулись к нему так, ничьи глаза не блестели такой радостью навстречу. Ему стало хорошо и страшно. Когда девушка подняла ладонь, чтобы положить ее Белке на голову, он вдруг рванулся и побежал, размахивая вениками и от волнения ничего не видя перед собой.

Когда он наконец оглянулся, Наташи уже не было на поляне. Только голос ее, зовущий Белку, звенел в соснячке. Когда же она сама появилась, такая тоненькая и легкая в своих красных сапожках, Белка спрятался за камень. Ему было стыдно, что он побежал. Сердце его стучало сильно. Замерев, зверьком затаившись, смотрел он, как бежала Наташа вниз с горы, как старые боярки хватали ее за косы, а она нетерпеливо вырывалась и кликала его, Белку.

Он возвращался домой как будто откуда-то издалека, из дальней-дальней счастливой страны. Он был в этой стране очень мало, но что-то вдруг изменилось. Такое чувствовал однажды Белка, когда один забрался на скалу Моховой Леший и встал там выше тайги, выше гор, выше реки. И только вечернее небо, огромное, розовое, было над ним. Даже птицы летали и кричали внизу.

Он шел из этой страны в свой мрачный дом. С каждым шагом тяжелей становилась вязанка и как будто темней становилось на улице.

...Еще издали увидел кучу только что привезенных дров у ворот и мать, сидящую на крылечке. Что-то она там делала, курицу, что ли, потрошила. Лучше бы бабушку первой встретить.

Бабка хоть злая, да своя. А мать совсем чужая стала. В глазах ее ни тепла, ни ласки. Они теперь всегда яркие и острые. Такие были у Натуды-Руды, когда он однажды после сильного запоя вроде бы помешался.

На этот раз глаза матери были заплаканы и глядели непривычно жалко из-под коричневого тонкого платка, плотно охватывающего худые щеки и подбородок. Этот платок сильно старил мать, делал ее лицо бледнее обычного.

— У попа был,— сказала мать неприветливо, но спокойно,— знаю... Давай вон дрова складывай.

Рябка так крепко спал на солнцепеке, что и на мух, облепивших нос, внимания не обращал. На голос матери он поднял голову и тогда, видать, сообразил, что пришел Белка. Вскочил как шальной, кинулся к нему, едва не выбив из рук ветки.

— Цыц,— закричала мать протяжно,— цыц, пес!

Рябка отошел виновато и улегся, зевнув от обиды и волнения. Он всегда, чужак, зевал, когда волновался.

Бабка высунулась в окошко, погрозила костлявым кулаком. Да, должно быть, в шутку, потому что тут же вышла, забрала, довольная, ветки, потрясла, пошумела ими, понюхала, зарывшись лицом в листья, сказала:

— А свой запах у купального веничка, свой! Ты молодец, что принес, а то мне некогда сбегать.

Пока Белка укладывал дрова в поленницу, бабка приходила дважды. Первый раз недоверчиво спросила:

— Неуж в кухне матушка тебя положила?

Белка кивнул. Бабка покачала головой и вздохнула, довольно улыбнувшись.

Во второй раз спросила тихо:

— Не звал ли тебя батюшка в гости?

— Звал,— ответил Белка.

Бабка перекрестилась вверх, где над домом стояло круглое большое облако.

— Господь бог милостивый... Никола-чудотворец! Хоть бы мои думки сбылись...

А думки у бабки были такие: чтобы помог отец Алексей Белке священником после школы стать.

— Ты бы, Дарья, сначала послала Тимку поесть, может, он голодный.

Узкие губы матери шевельнулись злой змейкой.

— От попа-то батюшки голодный? А ну похвались, чем тебя отец наш потчевал?

— Оладьями.

— Ну вот. С оладьев пусть и потрудится в угоду госпо-
ду.— Мать перекрестилась быстрой рукой, обмазанной кровью
и облепленной куриным пухом.— А то еще дела никакого не
сделал, а оладьев налопался.

Сама она, не сделав чего-либо утром, не садилась за стол.
Последнее время не давала и Белке есть, пока он не подметет
двор либо дров не наколет. Каждое утро они теперь ссорились
из-за этого с бабкой.

Белка набрал охапку поленьев, поднялся с колена и уви-
дел идущих по переулку учительницу свою Антонину Петров-
ну и деда Демида. Антонина Петровна махала Белке рукой.

Первым вошел во двор дед Демид.

— Здоровье дому сему,— сказал он, идя прямо к матери.

— Будьте и вы здоровы,— сказала мать, поднялась, опу-
стила глаза и встала так, чтобы загородить собой открытую
дверь.

— Приглашай в дом,— грозно сказал дед Демид.

— И здесь места хватит,— смиренно сказала мать, пока-
зав руками налево и направо, где вдоль завалинки стояли низ-
кие скамейки.— В доме моем — бог, а вы безбожники.

Антонина Петровна вздохнула. Сели оба на скамейку.

Дед Демид достал свою трубочку, набил ее табаком из ки-
сета. Мать терпеливо ждала.

— Ну,— сказал наконец дед Демид,— догадалась хоть, за-
чем пришли?

Тут бабка высунулась из дверей.

— А зачем же, мил человек? Поди, не свинок торговать, не
насчет картошки... Уж, поди-ко, опять из-за Тимки. Ай что
натворил?

— Ну и притворщица! — потрянул рукой с трубочкой дед
Демид.— Сразу, старая, поняла, про что разговор будет. Как
вы парня-то воспитываете!

Бабка всплеснула руками и запричитала:

— Как воспитываем, как? Что он, хуже других? Учится
плохо? Вот Телеповы партийные, а их Мишка в каждом клас-
се по два года сидит! А у Петровановых...

— Уйдите, мама,— сказала мать, поднимая голову,—
уйдите...

Бабка как будто даже обрадовалась и в секунду исчезла.

— Ты вот что,— сказал дед Демид, встав и подойдя к ма-
тери близко,— долго будешь голову парню бредом своим мо-

рочить, а? Сама свету белого не видишь, живешь тараканом запечным, и его в темноту повергаешь!

— Бог — свет единый...— ответила мать и медленно, с достоинством перекрестилась.

— Да шут с тобой,— вскричал дед,— шут с тобой, с душой этакой! Освободи парня от глупостей своих, дай ему вольно жить и дышать.

— В боге единое чистое дыхание...— тихо сказала мать.

Плюнул дед Демид.

— Нет, вы глядите,— воскликнул он так, что куры закудахтали и разбежались кто куда,— глядите, люди! Вот,— он постучал кулаком по крыльцу,— и вот,— он стукнул себя пальцем по лбу,— всё едино. Да пойми ты, Дарья, не дадим мы тебе более мальчика угнетать! Отберем! Все права у нас на то найдутся. Одумайся! Заберу парня, сам выращу!

— Все в божьей воле,— сказала мать,— бог захочет — отберешь.

— А вот и отберу! Не жалко тебе? — закричал дед Демид.

Белка жадно глядел в лицо матери. Ему и хотелось, чтоб она вдруг отдала его, сама отдала деду Демиду. И ждал он, что протянет она к нему руки, как та девушка, прижмет к себе, и поймет Белка, что дороже всего на свете для матери — он.

Но лицо ее осталось суровым, а глаза — холодными.

— На все будет божья воля,— сказала она.— Бог повелел отдать и детей во имя его, если придется.

— Ужас какой-то...— сказала Антонина Петровна.— Это же чистой воды фанатизм. А своя воля, Дарья Ивановна, есть у вас?

— Только божья воля свята,— ответила мать.

— Но ведь Тима — ваш сын!

— Все мы — дети божьи.

Дед Демид опять тряхнул рукой с трубочкой. И такое лицо у него сделалось, будто стало ему очень больно.

— А хорошая ты была девчушкой, Дарья,— сказал он,— славная такая. Как сейчас помню, на клубной сцене ваш класс выступал. Четвертый, кажись. Тоненьким таким голосом ты пела: «Черкес молодой, чернобровый...» И танцевала. Как козочка! Я тогда только приехал сюда. Ну, думаю, дальнее место Ольховка, а светлое.

Мать еще больше побледнела:

— Антихристовы ж это разговоры.

— Да кто же тебе антихристом-то был, Даша! — сказал дед Демид. — Один твой муженек Федька. От него ты ослепла, ничего теперь не видишь кругом. Через него всех ненавидишь. А Федька ничьего-то мизинца не стоит. Вроде Володьки-пьянчужки никудыш. Даша...

Мать положила обе руки на грудь, где сердце. И так посмотрела на деда Демида, будто взглядом отбросить его хотела.

— Не тронь меня, Демид Петрович. Все это давно схоронено. А сын — наказание мне за мой грех. Уходите отсюда. Что мое — то божье. А у бога взять нельзя. Он — везде. Он — всесильный.

А дед Демид тоже горячо взглянул и сказал:

— Ну, Дарья, не взыщи! Партизан я был, красный боец. И помру им. Так что драться теперь с тобой начну и с богом твоим насмерть. И помощников найду себе умных. Много найду!

Они ушли. Бабка выскочила на крыльцо, запричитала:

— Ой, что будет, что будет!

Мать резко сказала:

— Ничего не будет. Не впервой. Замолчи и забудь. Будто их не было. — И крикнула Белке: — А ты не стой, не стой! Чего руки опустил?

Через час Белка закончил укладывать дрова и, уставший, вошел в дом. Бабка в кухне гремела ухватами. Мать, сидя под образами на скамье, чинила Вианорову рубаху. Уже штопаные, старые носки аккуратно, один на другом, лежали на столе рядышком с коробкой ниток.

На столе стояла запотевшая крынка с молоком, тарелки с вареными яйцами, огурцами, медом и ковригой свежего пышного хлеба.

«Вианора ждут», — подумал Белка, останавливаясь за порогом, и вслух сказал:

— Я дрова убрал.

— А теперь картошечки отведай, — не поднимая глаз, проговорила мать, — во славу господню.

— Иди на кухню, — позвала бабка, — а то намусоришь на столе.

Дала огурец, пять больших картофелин в кожуре из большого чугуна, где обычно варили для поросят. Налила молока.

— Прибегал к тебе утресь Лексейка, — сказала бабка, — на рыбалку звал. Я бы не пустила, а Дарья вон говорит — пускай идет.

— И пускай, — проговорила мать, — ты бы все спорила.

Бабка вздохнула, поджав губы. И чего опять делят? Раньше только Белке попадало, а мать с бабкой дружно жили. Теперь же что-то меж ними случилось оттого, что мать мало в церковь стала ходить. Зато она дома молится больше.

Бабка хватала Белку за руку и тащила его в церковь. Там вымаливала спасение заблудшей душе Дарьи и плакала.

«А почему заблудшей?» — спрашивал Белка.

Бабка шлепала его по затылку ладошкой:

«Молчи! Что кричишь громко? Чтоб люди срам узнали? Господь милостив — наставит ее на путь наконец...»

У матери и на работе не стало ладиться. Она была уборщицей в литейке — самом тяжелом цехе. Однако лучше ее никто с работой не справлялся. Хотели на Доску почета портрет матери вывесить, да директор не дозволил — верующая. Начали с ней беседы проводить. Мать рассердилась, два дня на работу не выходила. А сегодня вышла в первую смену и вернулась злая и плачет теперь. Наверное, Белка почему-то мешал ей. Вот она и отправляет его на реку с Лексейкой.

— Мам, — попросил Белка, — отпусти Рябку со мной.

— Ну-ну! — прикрикнула мать. — Опять за свое? Это что за порядок — голый двор? Без собаки-то можно ли, да еще в ночь? Особенно когда чужаков полдеревни набралось. Да и не к чему это баловство цепному псу. Иди один! Да не петляй, иди, куда пустила!

Белка схватил удочки, клеенчатый мешок для рыбы, старую ватнушку и, не оглядываясь, помчался со двора, пока мать не передумала.

Конечно, он побежал бы прямо к Лексейке, потому что очень уж злая была в этот день мать. Но на полдороге услышал самый горластый динамик — клубный. Сначала там что-то трещало и свистело. Белка шел и слышал этот свист, треск и еще рычание машин, доносившееся через весь поселок оттуда, где стоял караван. И вдруг динамик, заглушая все звуки, ликующе пророкотал:

«Внимание! Внимание! Товарищи! Через два часа на берегу реки возле новой пристани состоится митинг, посвященный началу работ по строительству Ново-Ольховского железорудного комбината. Внимание! Внимание!»

Тут Белка увидел издали Лексейкину белую панаму, летящую над плетнями. В поселке никто больше не носил панам. Значит, Лексейка уже побежал на берег. И Белка припустил следом.

На всех улицах взрослые слушали голос динамика — и возле колодцев, и на скамейках, и в открытых окошках. Из дворов выныривали мальчишки.

Перед самым Белкиным носом из своей калитки важно вышел Сережка Гвоздилин в новой желтой майке с красным воротником и синих спортивных штанах.

— А-а,— сказал он, сплюнув,— блаженный Тимофей!

И мимоходом дал Белке пинка.

— Дурак! — крикнул Белка.

— Обзывать грех,— строго сказал Сережка.— Бог накажет — к носу палку привяжет.

На углу стояла дряхлая бабка и, приставив ладонь к уху, слушала громкоговоритель. Она, конечно, не видела, как Сережка пнул Белку.

— Правильно сказал, мальчик,— прошамкала бабка, с уважением глядя красными глазами на Сережку,— грех обзывать. А то нонче такие детки пошли — ай-я-яй!

— И не говори, бабуса! — воскликнул Сережка, закатывая глаза.— Страх какие ужасные детки пошли.

Но как только бабку не стало видно, Сережка Гвоздилин опять дал Белке пинка. При этом он назидательно проговорил:

— Когда тебя треснут по левому уху, подставь правое. Чтобы равновесие не потерять. Аллилуя!

Белка сжал кулаки и крикнул:

— Ладно тебе, аллилуя! Ладно!

Но они уже вышли на главную улицу поселка, людную в этот час. И Сережка пошагал солидно сторонкой, вежливо кланяясь встречным взрослым.

Белка совсем потерял из виду Лексейку и побежал что было духу по другой стороне улицы, чтобы на всякий случай оказаться подальше от Сережки. Повернув за угол последнего дома, он с разбегу так и ткнулся в Лексейкину спину. Тот едва устоял на ногах, но как будто не заметил, что Белка едва его не сшиб.

— Эге! Видал?! — завопил Лексейка.— Видал миндал?

Действительно, и как только можно было за несколько дней такое натворить! Весь склон горы был уставлен палат-

ками. Да не как попало, а улицами. Где жили геодезисты раньше, Белка так и не нашел.

На одной из палаток, стоящей прямо на скале над обрывом, висела длинная голубая доска с алой надписью «Штаб стройки». А рядом, на высоченном шесте, бился на ветру красный флаг. И штаб и флаг далеко было видно. Если бы Белка не столкнулся по пути с Сережкой Гвоздилиным, он еще от клуба увидел бы их.

Другой городок вырос на воде: сколько в заливчик приплыло барж, паузков, катеров, кранов, что сосчитать их сразу Белка не смог. У самого берега стояли три странных, невиданных судна. У них были длинные-предлинные носы, надстройка где-то в корме. Все это лязгало, пыхтело, грохало.

На берегу высились горы ящиков, мешков, огромных белых плит, кирпичей. А в стороне сопела и чавкала странная плавучая машина. В длинной железной руке она держала канат. На конце каната над водой болталась железная штука, похожая на жадную пасть. Рука опускала штуку в воду, и та с бульканьем тонула. Но трос натягивался и дрожал. Что-то там под водой делалось. Наконец штуку выдергивали. Появлялась она со сжатыми челюстями. Меж ними сочилась вода. Длинная рука поворачивалась, челюсти оказывались над берегом, разжимались, и на песок плюхалась здоровенная куча мокрой гальки.

Мальчишки толпились невдалеке на высоком галечном холме, которого здесь раньше не было, и каждый раз визжали от восторга.

— Видал? — восхитился Лексейка. — С позавчерашнего дня тут работает. Теперь здесь с ручками будет. Глубоко!

Еще бы! Там не только Лексейке с ручками, а целый дом с трубой потонет. Потому что машина эта уже четвертую кучу насыпала. У первой стоял автокран и загружал галькой самосвалы. Они увозили ее куда-то за березовую рощу, к распадку между горами. Что там делалось, разглядеть было нельзя, потому что берег весь был изрыт до самой березовой рощи, везде высились горы песка, в яминах грохотали бульдозеры, а в роще визжали пилы.

— Куда же они гальку возят? — спросил Белка.

— Эх, темный человек! — засмеялся Лексейка. — А новую дорогу кто делает? На Большуху, в райцентр? А? Прямо через распадок!

— Ну да! — недоверчиво воскликнул Белка. — Сказал!

Распадок, конечно, широкий, да и лесу в нем почти нет. А за распадком-то три горы! А за горами — сам Моховой Леший!

— Ха-ха! — закричал Лексейка. — Сказал! Исчезнет твой Леший! Вместе с бородой!

— Ну да!

— Вот тебе и «ну да»! Взорвут его скоро. Пш-ш-ш... — и нету! И до Большухи, до райцентра будет совсем близко. Захотел, пешком пошел. Не веришь? На митинге скажут.

Белка постоял, подумал. Трудно, конечно, представить, как можно такую огромную скалу взорвать. Не гнилой ведь пень выдернуть. Что против этой скалы человек? Таракашка! Наверное, Лексейка сочиняет.

— Слышь, Лекся, на рыбалку-то пойдём?

— Какое там рыбалка! А митинг! И вообще лучше я пойду посмотреть, как дорогу строят. Хочешь со мной?

Белка покачал головой. И не потому, что не хотел посмотреть, как строят дорогу. Не оттого, что сильно любил рыбалку. Показалось Белке, что Лексейка теперь не друг ему. Началась стройка, и забыл он Белку. Не до Белки ему теперь. Слово дал на рыбалку идти — и уже не помнит! А как же Белке без друга!

Поплелся он прочь. А Лексейка даже и не заметил. Не оглянулся. Не окликнул. Стоял, приплясывая на одной ножке. Радовался. Разве интересно было ему слушать о том, что случилось с Белкой?

Один друг остался у Белки — дед Демид. К нему и идти надо. А вороненок Карла и вовсе рад ему будет.

Берегом прошел Белка к своей лодке. Переплыл протоку. И едва вошел в рощу, как со старой березы, из гущи веток, чуть не на голову ему черным красноротым чертенком свалился вороненок.

«Кх-х... Кр-р!» — завопил он, облетая Белку вокруг.

Белка вытянул руку. Но Карла сел на землю и пошел с ним рядом, теребя по пути траву.

— Карлуша ты, Карлуша... — проговорил Белка, наклоняясь и поднимая на руки тяжелую птицу, — какой ты чудной, неудобный. Ну совсем головешка обгорелая!

«Кх-х... Кр-р... Кр-р...» — бормотал вороненок и глядел боком в глаза Белке так, будто был на него сердит.

Белка достал из кармана кусочек хлеба, размял его в пальцах и сунул Карле в рот. Карла, прикрыв глаза, замер, дожидаясь, когда хлеб проглотится.

Дед Демид сидел на сквознячке за столом, доставал длинным шилом майских жуков из большой коробки, укладывал их слоями в поллитровую банку и заливал топленным маслом. Рядом стояли две такие же банки: одна — пустая, другая — с жуками в масле.

Над дедом Демидом смирнехонько висели его грозные ружья. Рядышком два старинных штуцера, потом берданка. Совсем дряхлая шомполка. И легкая фроловка. Отдельно красовалась винтовка-дробовик с двумя, один над другим, стволами — для дробового патрона и пули. А еще любимые дедовы тозовка-малопулька и ижевка-бескурковка — его рабочее оружие, с которым он и ходил теперь в тайгу.

А на тигровой шкуре, над сундуком — богатый именной «Зауэр» двенадцатого калибра с гравировкой по металлу, с серебряной планкой. На ней написано было, что дарят ружье знаменитому охотнику Демиду Петровичу Бегунцову областное общество охраны природы, а также областная охотинспекция и краеведческий музей.

— А-а, пришел! — закричал дед Демид. — А я тебя со вчерашнего дня жду! Знал, что на Ивана Купала дома не останешься... Слышишь, мать, собирай в путь на двоих — Тимоха со мной пойдет на всю ночь. Через часок выедем, парень. Прежде ночи садок волчий посмотрим, а завтра, если надо, подремонтируем, поправим...

Белка кивнул, косясь на банки с жуками.

— Забыл? — спросил дед.

— Помню, — ответил Белка, — приманка это. Для волков.

— Верно. Поставлю теперь банку на солнышко. Пускай жуки протухнут. Волк — скотина поганая. На него что ни приманка, то вонь страшная.

— Деда, — спросил Белка, — а для чего ты про меня на стройке рассказывал?

Дед Демид поглядел на Белку, помолчал. Потом сказал серьезно:

— Вишь ли, Тимушка, одни мы с тобой тут никак не справимся. Ни с бабкой твоей, старухой хитрой, ни с матерью. Вот, значит, я и пошел к ребятам. Так, мол, и так. Сила вы свежая, боевая, помогите. Сдвинем сообща этот камень лежащий. Тут ребята закричали: «Где наша вечная пионервожатая?» Наташу ту и привели. Сидели мы с нею, Тимушка, цельный вечер на бережку. Повыспросил я у нее все. Девчонка, знаешь ли, самостоятельная. Крановщица. И я скажу тебе: мужицкое она

дело делает. Вот поставят кран, поглядишь, как она своими белыми ручками целые тонны зараз перебрасывать с места на место начнет. А вечной пионервожатой ее за то прозвали, что никак она без школы не живет. Сильно ребятишек любит.— Тут дед Демид засмеялся, довольный.— Ишь ты, нашла, однако!.. Ты, брат, ей верь, верь! Я — поверил. А в людях толк я хорошо понимаю.

Минут через тридцать затарахтела дедова моторка, улегся Белка в носу навзничь на ватнушку, положив руки под голову. В ногах его устроился пес Вертай. Карлу дед взять не разрешил.

— Мал, потеряется еще. Пускай подрастет чуток!

И на всякий случай, чтобы не улетел за ними, посадил вороненка опять под ящик.

Бежала маленькая волна — шлеп-шлеп. Лодка чуть вздрагивала, круто разворачиваясь против кос. Бежали мимо лесистые хребты, обрывистые берега, песчаные мысы с могучими тальниками, купающими острые листья свои в быстрой воде. Таинственно чернели омуты, пряча в холодных глубинах скользких жирных тайменей. Всплескивали возле корявых топляков крепкие щучьи хвосты. А над тихими заливами толкалась столбами мошкара, и вода кипела — там жадно кормились пескаришки и прочная рыба мелочь.

Белка бездумно смотрел в бледное небо, на нежные облака, курчаво окаймляющие горизонт, и слушал, что говорил дед Демид. Намолчался, должно быть, за то время, пока никто не приезжал к нему в гости.

— Ленок сейчас отличнейший, жирнувший. Надо своей старухе на пироги привезти ленка. А для ухи наловить хариуса. Невелик наш поселок, а поди ж ты, рядом уже не та рыба стала. Почитай, сколь рыбаков, столь и беззакония. Ни тебе сроков, ни тебе порядка.

Тогда Белка спросил:

— Дедушка Демид, а как ты нынче весной браконьеров словить не побоялся?

— А чего их бояться? — пожал плечом дед. — Они, конечно, подлые. Подлее, надо полагать, волка. Потому как волк — он по естеству жрет. Из него, понимаешь, порося или там телушку не сделаешь. К тому ж у зверя опасного, осторожного — одни повадки. Ежли ты их знаешь, стал быть, ему тебя не обхитрить. А браконьер, он как-никак человеческой породы, с мозгами, стал быть. Бес знает, чего они надумают. Может,

он в тебя допрежь пулю пустит, а потом лося положит. Тайга-матушка глуха. Потерялся дед Демид, поищут-поищут да и нос утрут. Мол, стар старик, где-то сердце отказало. Со скалы ли упал, в омут ли затянуло. Верно? Однако дед стар да удал. Все ж таки за долгую жизнь и браконьерскую породу раскусил.

— Их шесть было, браконьеров-то?

Дед Демид засмеялся:

— Уж и шесть. Прибавили! Четверо.

— Расскажи, дедушка, — попросил Белка.

— А чего тут рассказывать? Все эти истории одинаковы. Под одной сосной Вертай мне лосиху-мать нашел, под другой — телка. Двоих, значит. Устроил я в кустиках скрадок, зарядил оба ствола мелкой дробью. Сел ждать. Вертаю говорю: «Лежи и молчи». Вечер был, погода морошная, дождичек невидный мотрошит. За полночь разгулялось, месяц вышел, но не на полную, а в точь как нонче. Слышу, стал быть, от берега — шлепотня, шлепотня! Думаю, прибыли охотнички! Однако скоро догадался — медведь утичью молодь за островком ловит. Это, знаешь ли, потешная картина. Вывозится он, брат ты мой, в тине да в иле. Мокрешенек вылезет из воды — пужало, да и только. Хоть сейчас в огород. Ну, думаю, сейчас почует — прибежит. И тут меня осенило. Отчего это в глухом месте браконьеры враз не забрали добычу? Уж не меня ли слышали? Может, я тут сижу, а они где-то рядом. Кто кого перекараулит. Тогда я встал и громко говорю Вертаю: «Пойдем-ка, мил друг, домой, а завтра сюда с инспектором прибудем». Выбрался на берег, шумно моторку завел и до мыса доехал. Потом на веслах вернулся. Вертая на берегу оставил — для тактики. Тихо подошел. А четверо этих кавалеров уж и там. Тут-то я их и словил!

— Что ж они, не дрались с тобой?

— Куда-а! Был, знаешь, в восемнадцатом году командир красных партизан Демид Бегунцов. Чем он был знаменит, думаешь? Только храбростью? Храбрости, брат, у каждого в то время хватало. Помимо храбрости был Демид хитер. Выйдем, стал быть, на хребет, а нас человек двадцать-то всего-навсего. А я ка-ак гаркну: «По-олк! К бою пригото-овсь! Пли-и!!!» Тра-та-та, тра-та-та! — наш пулеметчик построчит. Каждый из нас по паре раз выстрелит — и были таковы! А беляки-то переполохаются — страсть! И давай шпарить по хребту из пушек, из пулеметов, из ружей. Мать моя! Демид

Бегунцов со своим отрядом на быстрых конях давно далеко. Беяки ж целый день с белым светом воюют, полк, стал быть, тот добивают. Их-хи! — Дед Демид от удовольствия даже глаза закрыл. — И, понимаешь, я на браконьеров эту тактику применяю. Видят, вышел из лесу мужичок хилый, ростиком малый, а они как-никак богатыри. А мужичок-то как рывкнет, ровно медведь: «Ребята, сюда давай! Тута они!» Так, чтоб у них волосы шишом встали. Вертай-то приучен, знает, бежит с шумом, сучья трещат, лает, воет! Пока, стал быть, они в растерянности, я у них ружья беру, сам в сторону, свое ружье на них наставляю и голосом зычным: «Давай, давай, поворачивайся, тащи мясо-то». Одним словом, пока поймут они, что к чему, я уже их в лодку усажу. Грызут потом локти, да поздненько. Так-то.

Берег приближался. Дед Демид загнал лодку в старицу, в тальник и осоку. Поднял рюкзак на плечи, велел Белке удочки пока поставить.

— Тут до садка рукой подать! Вернемся засветло.

Выбрались по каменной осыпи. Вертай раньше всех. Наверху вдруг замер, уткнув нос в землю. Быстро-быстро пошел назад по камням, по песку, по упавшему в старицу дереву. Дед Демид проследил за ним глазами, потом указал Белке туда, где высокая трава была широко примята.

— Ктой-то прошел!

Белка огляделся, увидел впереди муравейник разрытый. За ним большую каменную глыбу, вывернутую со старого места. Лежала глыба замшелой сухой спиной на земле, сырым голым брюхом в небо, а во влажной ямке вяло извивались громадные дождевые червяки, разодранные пополам.

— Хозяин, — ответил Белка.

— Верно. И матерейший к тому же. А давно прошел?

И по червякам судя, и по незасохшему млечному соку на сломанном стебле осота — недавно.

— Только что, — ответил Белка.

И посмотрел на деда выжидающе — не пойдет же он следом.

— Сейчас за ним интересно посмотреть, — негромко сказал дед, — насиделся косолапый за день, прячась от жары и овода. Вольготно ему к вечеру, прохладно. Дуроплясничать начнет.

Он некоторое время постоял, прислушиваясь, наконец воскликнул:

— Во! Слышал?

И дед начал живо карабкаться на небольшую крутую скалу. Белка с Вертаем — за ним.

Скала обрывалась вниз к старице. Со скалы видно было далеко-далеко — и синеющие дали, над которыми торчала лысина Мохового Лешего, и ближайшие горы, покрытые черными еловыми лесами вперемежку со светлой березой. И красноватые каменные проплешины по склону хребта над старицей.

Над одной из таких проплешин, не так далеко от деда Демида и Белки, за большим валуном кто-то копошился. Издали можно было подумать, что там грузный мужик в тулупе хочет что-то вытащить из-под камней. Вдруг валун качнулся. Сначала медленно пополз. Потом с шумом и грохотом, сшибая по пути всякую каменную мелочь, стремительно помчался к воде.

Медведь же неотрывно смотрел вниз, пока валун, подняв волну, не бултыхнулся в старицу. Тогда он, довольно помотав башкой, принялся раскачивать камень побольше прежнего. За этим чуть было сам не улетел, но удержался и от испуга недовольно рявкнул, схватил лапищами высохший добела выворотень и пустил его вслед бухающему по скалистому склону зловредному камню. Должно быть, это происшествие испортило косолапому настроение. Он, недовольно бурча под нос и не глянув, как упали в воду и камень и выворотень, пошел в тайгу, обиженно поджимая зад. Вертай, вздыбив шерсть на загривке и дрожа, смотрел ему вслед.

— Ишь, не посчастливилось парню, — посочувствовал медведю дед Демид, — не серчай на него, Вертаюшко. И так пострадал хозяин.

Однако медвежьего горя хватило ненадолго. Он скоро утешился. До деда Демида и Белки донесся сначала резкий щелчок, а потом длинный, дребезжащий, постепенно стихающий звук. Через минуту — опять щелчок и нудное длинное дребезжание.

— Веселый парень. Музыкант, — заметил дед Демид, — дранощепину нашел. В прошлую грозу дерево тут недалеко молнией расшибло, расщепило чуть не до корня.

Они с полчаса шли, провожаемые медвежьей музыкой. Вертай оглядывался и молча скалил белые клыки.

Белка представлял, как косолапый оттягивает от разбитого ствола тугую щепину, отпускает ее и с удовольствием слу-

шает. А щепина, ударившись о ствол, дребезжит на весь лес так, что у зверей помельче в животе холодеет.

И верно. Взволнованно метнулись синички, запищали тающими в шуме листвы голосами. Хрипло вскрикнула сорока, суетливо крутясь на верхушке ели. Заметались на трухлявых стволах, готовые тотчас попрятаться, бурундуки. Должно быть, сильно колотились их сердчишки от страха — близко грозный хозяин.

Облетали на тихих полянах оранжевые лепестки купальниц. Отцветали лиловые кукушкины башмачки, рыжея и съеживаясь. Те, что еще цвели, большей частью пожухли, поблекли. И не пахло уже от них так сладко, как в июне.

Ветреница вместо белых яблонных цветов раскачивала легонькие бледно-зеленые шишечки, в которых зрели семена.

А папоротник вошел в самую силу, широко развернул резные свои листищи, величественно вознес их над буйными зарослями сине-лиловых горохов. Над чиной, развесившей по крепким стеблям длинные острые стручки. Над нежными колокольцами поникшей купены. Над сладко пахнущим майником. Над рогатыми стручками почти отцветшей лесной герани, еще догорающей легким сиреневым пламенем.

— Деда,— сказал Белка,— а отчего это до сих пор цвет папоротника никто не нашел? Бабка моя говорила, что веру люди потеряли, оттого он и прячется.

Дед Демид перекинул рюкзачок с плеча на плечо и засмеялся так, будто Белка что-то очень уж смешное сказал:

— Их-хи! Чудак голова бабка твоя! Будто раньше кто его находил! Седьмой десяток расколачиваю, а что-то такого счастливца не встречал! Ученые говорят, что у папоротника цветов нет вовсе. Будто бы он тогда родился на земле, когда еще не умели растения цвести. До сих пор и живет вроде бобыля, надо полагать. Не дает от себя плоду-семени,— и почесал макушку озадаченно,— должно, стебельками сам себя продолжает...

— Ну уж,— снисходительно сказал Белка,— как это без цвету? Однако, неправда!

Дед Демид вздохнул — верно, сомнительно что-то, чтоб зелень цвет не дала, хоть самый паршивенький.

— Я так думаю,— рассудительно сказал Белка,— очень уж он коротко цветет. Пыхнет в одну секунду огоньком, и нету его. Ты глянь, деда: в конце лета лист у папоротника снизу вроде подпаленный.

— Это верно,— согласился дед,— только бог тут ни при чем.

— Уж найду я тот цвет, погляжу его, точно,— погрозился Белка на тихие папоротниковые поляны, затаившие до времени огненные цветы.

6

Дедов волчий садок стоял пустой. Новым он уже не казался. Дожди да снега перекрасили желтый цвет бревна в серый. Калитку время от времени дед снимал, чтобы волки заходили внутрь и привыкли к садку. И сейчас калитка стояла снаружи, прислоненная к бревенчатой стене садка. Гвозди поржавели до черноты, и от каждого гвоздя нарисовалась на досках длинная тощая борода.

Дед сунул голову в дверцу и сказал, довольный:

— Осмотр садку был! Гуливали тут серые-матерые! Вишь, как Вертаюшко суетится!

Белка обошел вкопанные частоколом по кругу бревна. Внутри большого круга бревен был круг поменьше. Получался узкий коридор, по которому, мелко от волнения ступая и сильно нюхая землю, ходил Вертай. А внутри частоколов — зеленый травяной пятачок видать. Сидеть там нынче приваде — визгливому поросенку. Будет орать, наружу проситься. Волк обрадуется — вот добыча! Откроет лапой дверь, забежит в коридор между бревнами. А там ему и порося не взять, и назад в тесноте не развернуться. Так и будет ходить, боком затворив дверцу, злой, голодный, дожидаясь своего часу.

«Ку-ку! — совсем рядом прокуковала кукушка. — Ку-ку!»

— Кукушка, кукушка, скажи, когда в нынешнюю ночь папоротник зацветет? — тихонько прошептал Белка, выискивая глазами птицу в густых ветках. Глаз у Белки зоркий, днем ему все птичьи хитрости видны.

Но дед громко стукнул калиткой, привешивая ее к дверному проему. И кукушка, тихо слетев с ветки, плавно скользнула на соседнюю березу, исчезла в густой листве.

— Считай теперь, что серый мой,— довольно сказал дед Демид,— это, брат, женатый парень, есть у него и волчица, и волчата. Семью я их скоро нарушу. Одного я, Тимоха, щенка возьму на воспитание. Давно хочу, да все недосуг.

Это было интересно. Но в этом не было никакой тайны.

Раз сказал, значит, возьмет. Без Белки не обойдется такое дело. А вот совушка — серая головушка сидит на сухой елке. Что это ее днем на свет вынесло? Уж совушка-то все лесные ночные тайны знает. Похожа совушка на старую бабушку в пуховом платке. Однажды Белка поймал совушку, держал в клетке. Подойдет к ней, бывало, а она навстречу подбежит, округляя желтые глаза. Головой затрясет сердито, глянет боком-боком. Мол, зачем держишь меня в неволе? Выпустил Белка совушку. Может, это она, та самая?

«Совушка-совушка, серая бабушка, я тебе волю дал, ничем не обидел, скажи, папоротник зацветет в сегодняшнюю ночь?»

Совушка свистнула и бесшумно слетела в высокие травы.

Повел дед Демид Белку ко второму волчьему садку, что поставлен был возле речушки Серебрянки.

Речушка была очень веселая, с белыми песчаными берегами, с клубничными полянами, с черемуховыми зарослями. Рыба в прозрачной воде бродила всякая.

Такая та речушка в грозной темной тайге была радостная и светлая, будто кто из лесовиков для своего жилья ее тут припас. Белка сидел на краю оврага и думал, что здесь, должно быть, и русалки живут, и важная ленивая берегиня, хозяйка веселого лесовика. И что все они непременно добрые, потому что в таком месте ни одно злое существо жить не может, даже если оно волшебное.

Дед Демид что-то опять про волков говорил. Белка головой потряхнул, чтобы думы разные из нее сразу выскочили. А то обидится дед, что он не слушает.

— Идем-ка, дружок, назад, а то темнеть начало, — говорил уже дед, поднимаясь с травы. — Я тебя сейчас короткой дорогой к реке выведу.

И повел дед Белку зверовой тропой. Тропа как тропа. Ничего особенного. А приглядеться шибче — здесь копытце, там копытце, а то и копытище. То уж не коза, и не кабарожка, то сохатый прошел. А вот на колючках боярки бурая шерсть. Медведь здесь продирался, памятку оставил — ветры ее пообтрехали да дождики измочили.

Вроде страшновато такой дорогой идти, да еще к вечеру, когда между деревьями темнеет, уходит день с земли вверх, дотаивает там в высоком небе.

— Ты, милоч, никаких троп не бойсь, окромя кривых да косых. В обход в крайних случаях ходи. Старайся прямо. Ты ведь человек, а не зверь. На то тебе и разум даден, чтобы от дела к делу прямо ходить. Прямая дорога короче.

Не боялся Белка тайги, потому что любил ее. Не мог же он сказать деду Демиду, что тревога продирает его насквозь, как мороз, потому только, что ночь эта — не просто ночь, а на Ивана Купала. И что скоро-скоро начнутся всякие волшебные превращения, которых дед, может, и не заметит, а Белка обязательно увидит. Потому что дед в них не верит и не ждет их, а он, Белка, так и дрожит от нетерпения... Вот сейчас, вот сейчас...

Под ногами что-то зашипело. Белка тихонько ойкнул. Это был крошечный ручей, утонувший в прелой листве. Из года в год листва падала и падала в него и в конце концов затопила совсем. Только и узнаешь, что жив этот ручей, когда наступишь на него. Сердито зашипит он, проступив из-под ноги белой горькой пеной.

Завечерело совсем. Солнце кралось за лесом от ствола к стволу, будто следя, куда это Белка идет. Забавлялось солнце — кидало огненные лучи то в глаз, то под ноги. Превращения начинались.

Голубой цвет мышинного горошка стал сизым дымком, потянулся над темной землей. Что-то в нем струилось и вздрагивало.

Неясно засияли серебристые цветы сладко-душистого лилейника-красоднева, будто кто маленькие белые платочки побросал на траву.

Солнце скакнуло за гору разом. Стало темно. И тотчас березы, как бабки-колдуньи, взметнулись над Белкой, распахнули руки под черными шальями, загородили ему дорогу и вправо, и влево, и вперед, и назад. И стволы — не стволы, а белое шитье от земли до ворота по широким подолам. А где ворот, где голова — не видно. Черно вверху. Только ясно слышно, как сердито шуршит-шелестит каждая бабка-береза: «Не пушшу... не пушшу...»

А дед Демид вовсе и не всем известный дед, а тот самый старичок-домовичок, добрый да ловкий, что жил когда-то в раннем Белкином детстве невидимо рядом с котом под широкой лавкой в кухне, на старой телячьей шкурке, вытертой посередке добела. Потому березы-колдуньи, досадливо вздыхая, пропускали его без спора, а вместе с ним и Белку.

— Ха-ра-шо-о,— сказал вдруг старичок-домовичок,— совсем как в девятнадцатом на Амуре! — сказал и стал опять дедом Демидом.

Ловко спрыгнул с бугорка, махнул Белке рукой. Спрыгнул и Белка. Растеклась галька под ногами, слышно стало, как нашлепывают тугими ладошками волны по бортам лодки и как днище ее скребет и погромыхивает о камни.

Дед Демид уже тащил откуда-то сухую корягу-плавун, и доску, и бревнышко, складывая костер и приговаривая:

— А сейчас мы чайку попьем, ушицу сварим.

Сквозь сизый дым выбилось наконец чистое пламя и пошло, и пошло, выше, выше, лихо, с треском! Вверху языки пламени отрывались и, трепыхнув, как большие рыжие рыбыны, рассыпались искрами.

Белке хотелось, чтобы пламя полыхало еще выше, и он принялся кидать в костер сучки и щепки. Дед Демид весело бормотал что-то, топчась в лодке над переметом, маленький, с крючковатым седым вихром на макушке, бросал к костру окуней, а больше — молодых щук. Они таращили кошачьи глаза и рвались из Белкиных рук.

— Эх, молодость моя, где же ты затерялась, моя молодость? — оглушительно спрашивал дед у воды. — Эгей-эгей! Го-го-го-о-о!

И тут в ответ раздалось тоже: «Го-го-го-о-о!»

Белка удивился было, отчего эхо отвечает девичьим звонким голосом. Уж не русалка ли балует? Тут из-за поворота что-то выплыло по самой стремнине: лодка не лодка, плот не плот — непонятно. Только полыхало это что-то большим костром да звенело песнями и смехом.

— «Летя-ат у-utki-и...» — протяжно пела девушка.

— «Ле-тя-ат у-utki-и...» — подхватывали девушки и парни.

— Эй, утки-и! — кричал лихой девичий голос.

«Ки-ки-ки...» — отвечали эхом горы.

— Где вы? — спрашивали девушки.

«Вы... и... и...» — таял их голос где-то в тайге.

Когда плавучий костер поравнялся с ними, Белка ясно увидел, что это плот, а на плоту девушки и парни. Кто с факелами, кто с гитарой. И еще на плоту целый ворох цветов.

— Гляди, наши заводские девчонки опять на Серебрянку плывут. Да и молодежь со стройки прихватили! Веселей через костры скакать будет! Глядь, там и Наташа, однако!

С плота Белке и деду Демиду крикнули:

— С Купалой вас, эй, люди!

— И вас тоже! — ответил дед. — С жарким летичком!

Пока Белка искал глазами вишневый сарафанчик, плот скрылся за поворотом.

— Теперь, брат ты мой, женихов у нас до шута! Можно перебирать. А толь еще будет! Говорят, пограничники письмо прислали, целой заставой, как отслужат, к нам просятся. Эх, молодость!

Дед задумался и о Белке забыл, глядя на пламя. Что там ему виделось?

К берегу прибило несколько венков. Должно быть, гадали девчонки, чей венок не утонет, та и жить будет долго, счастливо. Белка забросил венки в воду. Пускай плывут далеко-далеко и не тонут, пускай долго-долго живут их хозяйки.

Поужинав, дед улегся на ватнушку, Белку положил на старый тулупчик. Вертай лег деду в ноги.

Подождал Белка, пока дед уснет. И как только он захрапел, поднялся неслышно и, робея, страшась, шагнул в темноту. Вертай глядел ему вслед удивленно и долго, потом положил голову между лап и стал смотреть на огонь.

А за темнотой уже стояла молодая луна. Тихий серебристый свет рыбацьей сетью лежал по берегу, по лесу. Как засыпающие рыбы, шевелились в этой сети кусты, деревья и травы. Вместе с горьким запахом березы торжественно плыл навстречу теплый и мягкий запах папоротника.

Белка шел на этот запах, изредка оглядываясь назад. Костер, ничего уже не освещая, стоял над берегом, как одинокий, чего-то ожидающий человек.

В лесу было темно и прохладно. Белка сделал несколько несмелых шагов и остановился.

Рядом кто-то громко вздохнул. Белка отпрыгнул назад. И тот, кто вздохнул, отпрыгнул тоже.

Белка, едва унимая дрожь в коленях, спросил срывающимся шепотом:

— Кто тут? — и перекрестился на всякий случай: вдруг это нечистая сила!

Прошелестели в ответ листья. Треснул сучок. Между кустов на фоне неба обрисовалась гордая голова сохатого. Зверь медленно уходил.

Белка выждал немного и стал потихоньку подниматься вверх по расселине. Здесь было светло и не терялся из виду костер на берегу.

Белка шел и думал, что случится, когда он найдет цветок папоротника и станет счастливым человеком. Во-первых, ему никогда не будет страшно дома. Бабка сделается ласковой, а мать — доброй. А то временами Белке кажется, что она и не мать ему вовсе, а просто чужая женщина. Пришла и живет. Вон Лексейке мать книжки читает, они вместе всегда ходят. Мать важно кличет Лексейку хозяином за то, что он ей во всем помогает. Он же, Белка, и дрова рубит и пилит, и двор чистит, и за скотом ходит. А ему никто еще за это спасибо не сказал. Только тогда и погладит по голове, приласкает бабка короткой лаской, когда Белка отобьет с ней рядом не один десяток поклонов господу.

А станет Белка свободным, как все мальчишки из поселка, некого ему будет бояться, не перед кем дрожать. Ох и побежит тогда Белка вволю, не опасаясь за то колотушек, и будут с ним дружить все мальчишки до одного. Даже Ким Таиров, тот самый, что лучше других умеет запускать в небо змея. И ехидный Сашка Перепеличко, рыжая голова. Сашка, конечно, не ахти какой распрекрасный человек. Он не столько из-за бога злится на Белку, сколько завидует, что тот умеет ловко лазать, а он никак не может. Белка научил бы его. Жалко, что ли? Пусть лазает, сколько захочет! Тогда уж, конечно, Сашка Перепеличко не задавался бы и не дразнился.

А цветок он привез бы Наташе. Пусть она украсит им свои блестящие косы. И принялся Белка выдумывать, какой он должен быть, цветок папоротника? Какие у него лепестки? Какой цвет?

Вдруг справа пыхнул огонек. Белка так и замер. Оранжевый, маленький огонек. Пыхнул и почти потух. Поплыл крошечной искоркой между стволов. Белка, вытянув шею, пошел следом, едва ступая. В темноте не заметил пребоьшой камень, чуть лоб об него не расшиб. А как отскочил в сторону с перепугу, увидел маленький затухающий костерок. Спinoй к Белке стоял возле него приземистый человек. Рядом с костерком — пихтовыми ветками крытый шалашик. Из шалашика торчали большие ноги в белых, домашней вязки носках.

И что, казалось бы, особенного — пришли люди в тайгу, только и всего! А Белка вдруг испугался. И попятился. Да, должно быть, неосторожно. Человек у костра оглянулся, и Белка узнал Вианора. Во рту у него горела папироска. Чуть подавшись вперед, он с тревогой всматривался в темноту. Но Белка не шевелился.



— Ч-черт! — проговорил тогда человек голосом Вианора. — Мерещится всякая ерунда!

Ноги в белых носках втянулись в шалаш, и тотчас внутри него замаячило белым пятном чье-то лицо. Чье — Белке некогда было разглядывать. Он почти на четвереньках, касаясь травы пальцами вытянутых рук, мчался назад не оглядываясь.

Вот уж диво так диво — горящая в зубах странника папироса! Должно быть, ее огонек Белка и принял за цветок папоротника. Все знали — свят Вианор, не пьет, не курит. Вся жизнь в молитве. Вот тебе и молитва!

Дед Демид спал все так же крепко, даже на другой бок не повернулся. Это потому, что рядом был сторож — Вертай. Собака повиляла навстречу Белке хвостом.

Костер почти угас. Белка подбросил в осевший огонь сушняка. Тогда дед Демид пробудился и спросил:

— Что не спишь-то?

Белка хотел было сказать про Вианора. Но дед тут же снова захрапел. А Белка вдруг подумал, не примерещилось ли ему это. Известно, что нечистая сила в ночь на Ивана

Купала совсем бешеной становится и может с человеком что угодно сотворить. Особенно если он один в лесу!

Решил Белка узнать дома, ночевал Вианор в деревне или нет. А на всякий случай, осторожно косясь на деда, перекрестился.

Так и не уснул в эту ночь встревоженный Белка. Просидел на берегу, глядя в темные струи реки, на серебряные лунные блески. Не боялся он оттого, что где-то за перевалом слышались песни, смех и веселые крики. Должно быть, парни и девушки уже разложили свои костры в устье Серебрянки. Белка старался угадать голос Наташи.

Переливчатое тягучее эхо подхватывало смех и песни, разбивая их на прозрачные осколки. И эти осколки, стеклянно звеня, прыгали с горы на гору, из ложка в ложок, убегая далеко-далеко — за горы, за доли. Сами песни казались Белке зелеными, а смех — рыжим, как костер. Пели, конечно, русалки, а хохотали лешие да кикиморы, скакали вокруг костров и от смеха трясли косматыми красными головами.

Белка вздохнул. Он знал, что выдумывает. Но выдумывать было так интересно! Ему очень хотелось умчаться туда, где горели костры и, конечно, цвел папоротник, украдкой цвел, пряча за стволами старых кедрищ свое неуловимое холодное пламя.

Молодой месяц растаял, как тонкая льдинка на горячей ладошке. Наступал ранний рассвет. Небо белело. Стихли голоса на Серебрянке. Осколки песен ускакали далеко-далеко и лежат теперь где-то, поблескивая. И все, кто видит их — люди или звери, — думают, что это роса.

Струи течения скользили над галечным дном неясными тенями — будто хвосты русалок, устало уплывающих в свои подводные светелки.

7

К полудню Белка был уже дома. Прежде всего он промчался через пустой двор на сеновал поглядеть, ночевал ли у них Вианор. Если его на сеновале и нет, то постель-то осталась, потому что Вианор не собирался уходить скоро из Ольховки.

Белка сунул голову в приоткрытую дверь сеновала и чуть было не свалился с лестницы: Вианор как ни в чем не бывало лежал на сене и что-то читал, то ли письмо какое, то ли запис-

ку. Вид у него был заспанный, и ничто не говорило о том, что он вернулся издалека.

— А-а, рыбак божьей волей! — воскликнул Вианор и будто схватил Белку взглядом. — Что же ты наловил? Чем порадуешь нас, грешных, любящих поесть вкусной рыбки? Ибо сказано: не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека! А?

— Д-да... — пролепетал Белка, заикаясь, — т-только щуки одни п-попадались...

Он хотел было слезть с сеновала, но Вианор остановил его:

— погоди! Мать отпустила тебя с Лексеем, а Лексей дома. Стало быть, ты опять с Бегунцовым в тайге был. Есть у меня к тебе вопрос. Отчего ты к этому старику все ходишь, к безбожнику? Что влечет к нему твое сердце?

Белка опустил голову. Вианор спросил строго:

— Ну, ответствуй, отрок!

— Интересно у него, — прошептал Белка, — он тайгу хорошо знает, учит меня и следы находить, и зверя понимать...

Вианор проговорил:

— Не о тебе ли господь сказал: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Не безверием ли скрытным объяснить мне дружбу твою с этим коварным и дерзким старцем?

Белка шмыгнул носом — вот-вот заплачет.

— И еще маловерующий поп портит тебя, — сердито проговорил Вианор, — мягкостью в вере портит. А ты смена нам, преданным царю небесному. Смотри помни это! Вера требует усердия и преданности! Господь сказал: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя!»

— Ничего они меня не соблазняют, — тихонько ответил Белка, — ни рука, ни нога...

— Проверь-ка, друг, себя как следует, — покачал Вианор головой, — ох, проверь! Сомнения подкрадываются тихо, как тать в ночи. Истинно говорю тебе, если ты будешь иметь веру с горчичное зерно и скажешь горé, — тут он махнул рукой на скалистые вершины над поселком, куда не смогли забраться сосны, — «Перейди отсюда туда», — и она перейдет. И ничего не будет невозможного для тебя.

Белка вытаращил на Вианора глаза.

— А вы можете? — спросил он.

Вианор усмехнулся снисходительно:

— Если понадобится...

Тогда Белка охнул и еще спросил:

— А вы могли бы в секунду перенестись через эту гору? Вианор недовольно и подозрительно посмотрел на Белку.

— Это ты к чему?

Белка вздохнул и схитрил:

— Говорят, есть перелет-травка. Как ее нашел, так куда захочешь, туда и перелетишь. Я думал, вы про это знать должны.

Вианор еще раз внимательно посмотрел на Белку.

— Я много чего знаю, отрок,— сказал он со значительным и таинственным видом,— мно-ого! Будь ближе мне, я и тебя научу. А сейчас ступай. Ступай и скажи матери, пусть приготовит щуку, как я люблю.

Белка прыгнул с лестницы на землю.

— Вот это да! — пробормотал он, почесывая затылок.— Как же это понимать? Или мне Вианор в лесу причудился, или он на самом деле там был, а потом волшебной силой перенесся домой?

Но так или иначе, а без чудес тут не обошлось. И Белка, удивленный и потрясенный, несколько не испугался, когда мать заругалась на него и даже замахнулась тяжелой связкой молодых щук.

— Окаянный,— закричала она,— я думала, ты с Лексейкой, а тебя опять нечистая сила к Бегунцову увела! Не нужна мне рыба твоя!

— Странник просил приготовить ее, как он любит,— сказал Белка, увертываясь от материнских рук.

У матери болел зуб и щеку раздуло. От этого она была еще злее, чем всегда. Однако при упоминании о Вианоре как будто подобрела.

— Ну? — недоверчиво спросила она, сдвигая повязку с затекшего глаза.— Врешь, поди?

Бабка, что-то скоблившая в кухне, сказала:

— Не врет! Я в окошко видела, он с Вианором разговаривал.

Мать повертела перед носом связку, выбрала две щуки побольше и, вздохнув, пошла в сенки потрошить рыбу. За ней, задржав хвост, шмыгнул кот Мартын.

— Ты вот что,— громыхнув сковородкой, крикнула бабка,— бери-ка лопату да ступай почисти у свиней. Да напои их!

А потом вдруг высунулась из-за печки, затащила Белку к себе и спросила шепотом в самое ухо, косясь на дверь:

— Батюшка прошлый раз ничего мне не велел передать? Белка мотнул головой.

— А чего Вианор-то тебе говорил?

— Он про бога... — начал было Белка, но бабка перебила его:

— На берегу когда был, не видал Анну?

Белка не видел Анну.

Дивясь тому, отчего вдруг бабка стала говорить с ним шепотом, Белка взял лопату в сенцах и отправился к свинару.

Рябка не бросился ему навстречу. Половина его пестрого туловища с рыжим хвостом была во дворе. Другая половина, протиснутая между досками, вела с кем-то на улице приветливый разговор. Хвост дружелюбно раскачивался, беспечно закрученный кренделем на спину. Такое благодушное настроение у Рябки бывало редко.

Любопытство так и подбросило Белку на забор. Перед счастливой Рябкиной мордой сидел милиционер Петр Петрович и говорил:

— Умню-ущий ты псина! Ох и умню-ущий! Уж я бы из тебя человека сделал! Зря ты тут пропадаешь понапрасну. Заел тебя единоличный сектор!

И Петр Петрович и Рябка увидели Белку враз. Рябка, упираясь лапами, стал выдирать из тесной щели косматую башку. А милиционер поднялся во весь свой огромный рост, и сразу его лицо оказалось на уровне Белкиного. Белка с полнейшей ясностью увидел серые выпуклые глаза в твердых мохнатых ресницах, широкие темно-русые брови и пухлые губы с лукавинкой в углах.

Белка даже побледнел немного оттого, что вдруг так неожиданно и близко взглянул в лицо человека, который был в поселке грозой всех нарушителей. Его боялись те, кто дрался и пил, и те, кто таскал морковку с чужих грядок и дергал за косы девчонок.

Петр Петрович ходил по поселку четким шагом, прямой, подтянутый и сильный. Солнце переселялось с неба на носки сапог и на пуговицы кителя. Белка ни разу не стащил чужого огурца, не драл за косы девчонок. Но посмотреть в глаза Петру Петровичу он не смел. Ему казалось — взглянет на него Петр Петрович и сразу вдруг выяснится, что Белка и драчун, и грубиян, и по огородам лазает. Конечно, лицо Петра Петровича он ясно не представлял, и тот до сих пор казался ему не-

молодым, сердитым и важным. Теперь Белка был совершенно потрясен: с высоты большущего роста смотрело на Белку очень молодое, без единой морщинки лицо, с лукавыми ямочками в уголках губ и веселыми зелеными рябинками в глазах.

— Что?! — глухо спросил Белка, цепляясь за забор ослабевшими с перепугу руками.

— Ничего, — ответил Петр Петрович и рассмеялся. У него были очень белые, широкие зубы. — Вот ты какой, Белка! А я, брат, никакого внимания на тебя не обращал.

— Да? — пробормотал Белка. Он заметил, что из-под фуражки, сдвинутой от жары вверх, падают на лоб влажные темные волосы. И что через весь лоб тянется от виска к виску красная мятая полоска — след твердой фуражки. Ниже этой полоски лоб смуглый, загорелый, а выше — совсем белый, зимний. Вид у Петра Петровича был усталый, как будто он много прошел, прежде чем появился у забора Сапожковых...

Петр Петрович взял Белку под мышки и, как неумелого воробья, легко снял с забора. Теперь Белка видел перед собой только треугольную лопаточку синего галстука на голубой рубашке. Так разговаривать было неудобно, и Петр Петрович присел перед Белкой на корточки:

— Слушай, Белка! Уговори своих продать мне пса...

Рябка, все так же виляя хвостом, смотрел одним глазом на них сквозь щель.

— Я его сам люблю, — сказал Белка, уводя взгляд под ноги, на широкие коленки Петра Петровича, обтянутые синим рубчатым сукном.

— Ах вот как! — озадаченно проговорил Петр Петрович и, прикусив губу, покачал головой. — Тогда другое дело. Я, брат, сам с детства в собак влюблен. Когда служил на границе, был у меня отличный пес по имени Мир.

Белка вздохнул и сказал доверчиво:

— А вас любят собаки...

— Собаки-то любят, — согласился Петр Петрович. — А вот люди — не все. Твоя бабка, например. — Он покачал головой. Спросил: — Николай... Фу ты, забыл, Вианор этот у вас опять?

— Ага, — ответил Белка, ковырнув носком землю.

— Слушай, Бельчонок, Анна у вас не была эти дни?

— При мне — нет.

Петр Петрович прищелкнул языком, поднялся, натянул фуражку на лоб — как раз на уровень полоски. Попросил:



— Вот ты какой, Белка!

— Мы с тобой не дружим, к сожалению. Но ты не говори, что я был и спрашивал. Мне сейчас некогда, а после я тебе объясню, в чем дело. Обещаешь?

Белка кивнул. Петр Петрович потрепал его по голове и пошагал прочь. И хоть шел он быстро, Белке почему-то показалось, что милиционер очень устал. Он еще раз удивился, что после бабки и милиционер вспомнил про Анну. Как будто она потерялась. Но спросить было не у кого: Петр Петрович уже свернул из переулка в улицу. Да и к тому же за разговором прошло время и мать могла его хватиться. Белка принялся за работу.

Здоровенный боров и свинья с поросятами дремали на жарком солнце. За забором щипала траву коза, привязанная к одному из колышков, вбитых в землю приезжими геодезистами. Кривой переулочек, в котором стоял Белкин дом, упирался в гору, в заросли молодого березняка. Соседние дома тянулись немного вдоль горы, а потом разворачивались к реке, в главную улицу. А эта улица, самая длинная, выходила к новой пристани. Оттуда по-прежнему слышался грохот и стук.

Что-то там еще произошло? Сколько насыпала гальки странная водяная машина? И что, на самом деле, за дорога к Моховому Лешему? Однако уйти, пока не прибрано у свиней, он не мог.

Белка подумал о стройке, покосился на колышки, которые белели в траве, как грибы.

Что же они собираются здесь строить? Что сделают с чистым красивым двором, ухоженным аккуратной бабкой? Свинарник она выстроила в прошлую осень. Он был такой еще желтый, веселый, с окошками, как голубые льдинки. Домишко, правда, совсем уже старый, неважный, особенно снаружи. Четыре окошка над самой землей, крыша, поросшая зеленым мохом, косые ставенки, от которых деревянные украшения давно откололись. Остались на них только дырки от гвоздей да еле видный рисунок — какие-то кругляши и загогулины. Но Белка знал, что бабка уже скопила на новый дом, который собиралась строить на месте старого сарая с подвалом. Наняли людей и договорились, чтоб привезли брус. Но помешали вот эти белые колышки. Бабке в поселковом Совете велели подождать со строительством.

Белка открыл калитку и принялся таскать навоз и мусор в ведрах под гору.

— Белка! — услышал он вдруг Лексейкин голос.

Лексейка стоял в конце переулка и махал Белке рукой.

Белка бросил ведро и побежал к нему. На Лексейке была вышитая рубаша, черные штаны и сандалии. Все только что из магазина, наверное. От Лексейки так и несло новой, кожей и новой тканью. И еще одеколоном. Он только что был в парикмахерской — черные волосы подстригли ему такой короткой челочкой, что весь лоб оказался открытым.

— Ты куда так нафасонился? — спросил Белка.

— Как — куда? — удивился Лексейка. — На пионерско-октябрятский сбор! Разве тебе не говорили, чтоб ты пришел? Сбор будет на самой стройке, к нам строители придут и все будут про Ольховку рассказывать.

Лексейка не был ни октябреньком, ни пионером, потому что еще не учился и только нынче собирался в первый класс — ему в сентябре исполнится семь лет. И вот Лексейку позвали, а за ним, Белкой, никто не пришел...

— Еще чего! — дернул Белка плечом. — Пойду я! Очень нужно! У меня дома работы по горло!

И, круто повернувшись, пошел от растерявшегося Лексейки назад к своему ведру. Было ему обидно и завидно очень. И сразу на Лексейку и Лексейкину радость досада взяла, как будто тот виноват был во всем.

— Ты что! — закричал Лексейка и хотел было догнать Белку, но очень боялся опоздать. Думал, что его тогда не пустят. Озадаченно шмыгнув носом, Лексейка припустился бегом туда, где бухало и грохотало.

Белка оглянулся, когда топот Лексейкиных ног утих. Переулок опять был пуст, только из густых лопухов у соседнего дома вышел драчливый белый петух и собрался было заорать свое «кукареку». Но откуда-то как шальной выскочил кот Мартын, и перепугавшийся петух, вопя, взлетел на забор и там сердито и оскорбленно закудахтал.

Белка кинул в петуха палкой и, присев у забора, заплакал. Он привык быть один и любил быть один, но тем не менее теперь он плакал от одиночества.

Однако он был гордый человек. Ему стало противно, что из-за кого-то он так раскис, так хлюпает носом. Белка сказал себе: он плачет потому, что тяжелы ведра, ломит спину и болят руки. Только из-за этого. А Лексейка пусть бежит куда хочет.

Почему-то вдруг Белка представил себе девушку в вишне-

вом сарафанчике и совсем перестал плакать. Посмотрел украдкой вверх. Шумел молодой березняк. Вдруг она там и видит его? Разве уж такой он, Белка, никудышный и слабенький человек? Пусть у него совсем не останется друзей, пусть. Тогда он уйдет в тайгу и станет охотником. Когда он вырастет, он будет высокий, как его дед. Бабка говорит, что дед был очень большой и очень сильный, что он мог одной рукой пригнуть к земле за рог голову самого злого быка. И тогда Наташа посмотрит, и все посмотрят, какой на самом деле есть Белка. Тот самый, над которым так безбоязненно может насмеяться подлый Сережка Гвоздилин.

Над забором, над Белкиной головой, высунулась бабка.

— Чего уселся? Калитку открыл, насадку выпустил, свиньи корыто с водой опрокинули! А он тут размечтался!

Бабкина худая рука просунулась между штакетинами и вцепилась Белке в чуб. Белкина голова мотнулась туда-сюда.

— Чтоб живо! — крикнула бабка. — Хоть одна цыпушка потеряется — семь шкур спущу!

Белка отскочил от забора, пригладил чуб рукой.

— Ладно... — прошептал он, — ругаете, потому что маленький. Ладно!

Бабка говорила, что была деду под мышку. Вот и ему будет под мышку. Пусть тогда попробует задеть!

— Раз... два... пять... восемь... — считал Белка цыплят. И тут сообразил, что за ним, может, и приходили, да бабка с матерью сказать не хотят.

Тогда Белка со злой радостью решил, что Петр Петрович не просто про бабку говорил. И что если им с матерью попадет, то так и надо. Они не дождутся, чтобы Белка про свой разговор с Петром Петровичем им рассказал.

Он загнал насадку во дворик, огороженный для кур, натаскал воды в корыто свиньям, ополоснул у колодца лицо и руки. Потом забежал в старый сарай, спустился в тесный сухой подвалец, заброшенный бабкой и матерью. Там у Белки был укромный уголок, где среди всякой всячины, завернутая в бумажку, лежала октябратская красная звездочка. Мать не велела носить ее, сказала, что это не угодно богу. И хотела выбросить. Белка потихоньку утащил ее из дому и спрятал. Зажав звездочку в потном кулаке, Белка прошмыгнул в огород и, нагнувшись пониже, бегом помчался под заборами — плетеными, дощатыми, штакетными. Чтоб не увидели бабка

с матерью и Вианор с сеновала. Пусть потом ругаются сколько хотят, даже пусть побьют. Все равно он побежит на сбор.

На рубаху никак нельзя было звездочку приколоть: уж очень он рукава и подол вымарал. Тогда Белка рубаху скинул, скомкал потуже, сунул под чужую поленницу, звездочку приколот на майку и еще быстрее припустился на берег.

Теперь Белка и вовсе не узнал берега. И не сразу увидел, где собрались ребята.

От березовой рощи почти ничего не осталось. Березы раньше стояли редко и каждая была как шатер — росла широко, вольно, нижние плакучие ветви колыхались над самой землей, задевая концами траву. Забежишь, бывало, под такую березу, а там тень, холодок, только по листве над головой шелково течет шумок-шепоток.

Теперь на месте рощи ревели бульдозеры и трелевочные трактора, бегали по взрытой, исковерканной земле какие-то озабоченные люди. Дым стоял коромыслом. Падали с тяжким вздохом и надсадным треском последние зеленые красавицы. Мимо Белки, минуя кучи безобразных вывороченных пней, проехал конторский грузовичок, груженный веселыми белыми чурками.

— Что стоишь? — услышал вдруг Белка смешливый голос над собой. — Идем скорей, не то совсем опоздаешь.

Рядом с Белкой стоял длинный парень. На плече он держал толстый бумажный рулон. Глаза у парня были карие, приветливые, рот большой, улыбчивый. Жиденькая борода кудрявилась от уха до уха. Он подтолкнул легонько Белку и, крепко взяв за плечо, пошагал рядом.

— Иду я, — сказал он, — вижу — стоит человек со звездой на груди, физиономия у него — кислей старого кваса. Ну, думаю, это стоит поэт. Стоит и плачет, что погибла роща. И не сможет он теперь по вечерам созерцать в тишине, как шевелятся ветки, не сможет слушать песни птиц в листве. И так далее, в том же духе... Верно я говорю, поэт?

— Не поэт я вовсе, — ответил Белка, отворачиваясь. Ему и в самом деле было жалко рощу.

— Ну да! — не поверил парень. — Не может быть! «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые!» Это не ты разве сочинил?

— Не я! — буркнул Белка, не желая сдаваться на веселый тон парня, который говорил так громко и так забавно.

Парень переложил рулон на другое плечо, схватил Белку

и так ловко перепрыгнул с ним через глубокую канаву, будто в Белке не было никакого весу.

— Вот,— сказал парень, поставив Белку на землю,— нашу работу глупым людям и подобным тебе поэтам нельзя показывать на половине. Видишь ли, если бы мы были волшебниками, мы махнули бы палочкой, березовая роща исчезла бы и на ее месте вырос белый дворец из стекла и бетона. Ты и разные глупые люди открыли бы сначала утром глаза, а потом рот, сказали «ах» или даже «ах-ах» и упали в обморок от восторга, потому что это очень красиво — белый дворец с голубыми окнами среди тайги на фоне этой каменистой горы, поросшей лесом! Но мы не волшебники.— Тут парень вздохнул и потер курносый нос здоровенным худым кулаком.— Мы — строители. И прежде чем выстроить дворец, мнем цветы и траву и даже спиливаем красивые деревья, которые нам мешают. Хотя нам их тоже очень жаль.

Белка покосился на парня. Он говорил абсолютно честно — это было видно по глазам.

— Вот и пришли,— сказал парень, взбегая на гору земли, на которой, накренившись, смирно стоял бульдозер с пустой кабиной. Бульдозерист сидел рядом на камне и ел хлеб, запивая его молоком из бутылки. На газетке рядом лежали свежие огурцы.

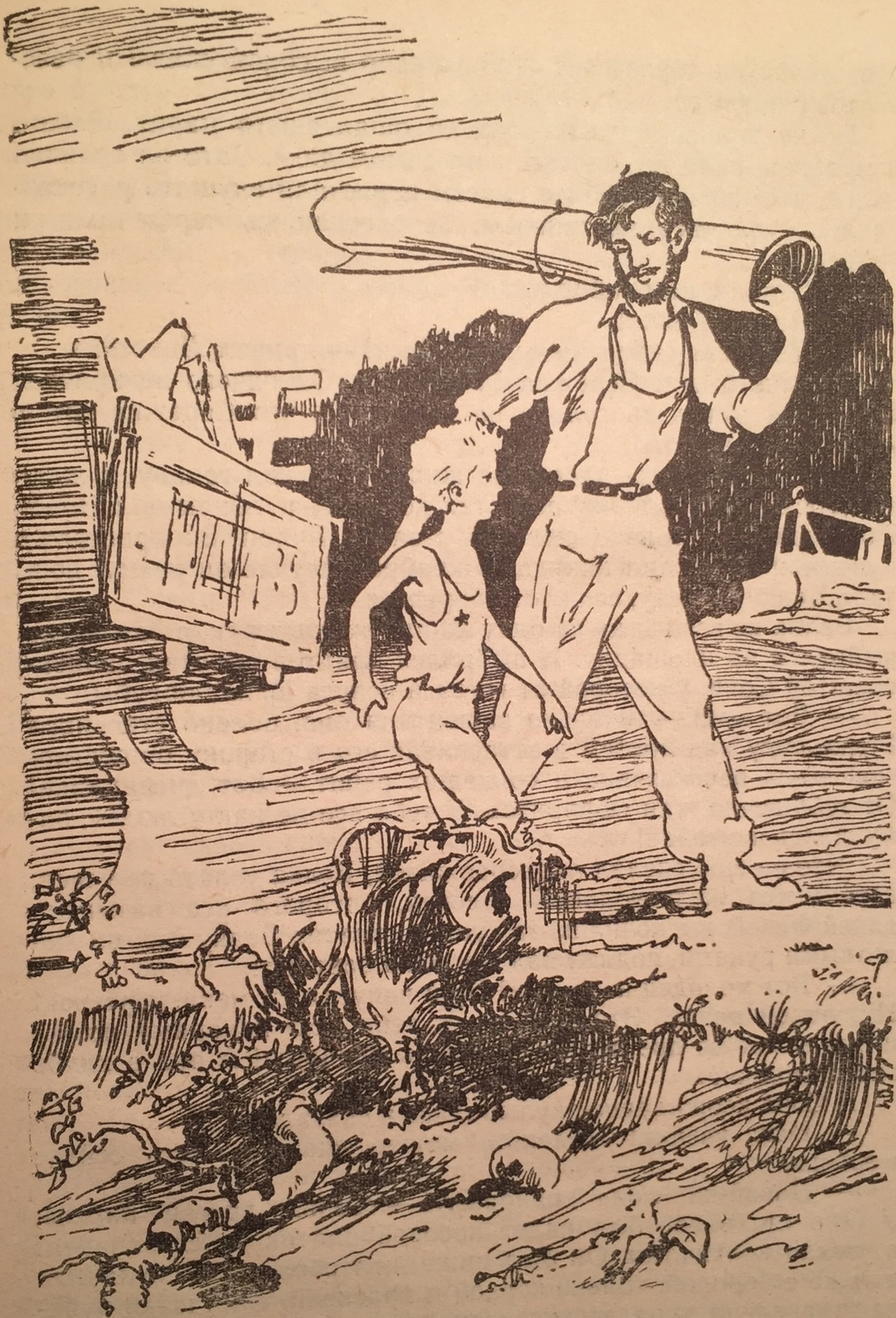
А над молчаливым бульдозером, на высокой скале, где стояла палатка с надписью «Штаб стройки», сидели и стояли мальчишки. Перед ними расхаживал парень, тоже в клетчатой рубашке, в чем-то белом на голове, и говорил, размахивая руками.

На скалу и раньше вела тропинка. Теперь на ней вырубили ступеньки. Но Белка не пошел с парнем, хотя ему и очень хотелось, чтобы сверху все увидели, как запросто парень с Белкой разговаривает. На эту скалу у Белки был свой ход, никому не доступный. И он, сняв руку парня со своего плеча, ловко вспрыгнул на узенький карнизик. Приникнув всем телом к нагретому солнцем камню, Белка начал подъем.

Он делал это для своего нового знакомого. А еще он делал так, потому что надеялся — в дыме и сутолоке, где-то рядом, ходит Наташа. Может быть, она увидит Белку и поймет, что он вовсе никакой не трус.

— Ты что, с ума сошел? А ну слезь! Кому я говорю — слезь сейчас же! — закричал парень.

Снизу ему казалось, будто Белка лезет по гладкой стене,



— Но мы не волшебники... Мы — строители.

что сейчас он сорвется с этой ужасно высокой скалы и разобьется вдребезги.

Белка только чуть глянул на ошалевшего парня. Зевать и медлить было бы опасно и на самом деле. Зато он отлично видел, что наверху ребята совсем перестали слушать рассказчика, а улеглись на животы, перевесившись через края, и заорали:

— Белка к нам забирается!

— Давай, Белка!

— Не бойся, дядя Федя, он умеет! — кричал Лексейка.

Там же был и Сережка Гвоздилин. Он ничего не кричал. Но Белка мог дать голову на отсечение, что Сережка готов лопнуть от зависти.

Рассказчик тоже улегся на живот и свесил голову, а желтоволосый парень внизу перестал колотить рулоном по камню. Побледнев, он только смотрел молча. Рулон он приставил к скале и не уходил никуда. В крайнем случае он решил поймать Белку на лету, если тот оборвется.

Белка не взялся ни за одну из протянутых рук, а сам легко выбрался на площадку. И выбрался прямо в объятия пионервожатой Сони, у которой от гнева и испуга дрожали губы.

— Вот как! — тихонько зашептала она, больно стискивая Белке руку над локтем и оттаскивая его в сторону от восторгавшегося рассказчика и вопивших ребят. — Вот дисциплина! От тебя вечно жди сюрпризов. У тебя все не как у людей, замучилась я с тобой!

Что он еще сделал пионервожатой, Белка узнать не успел, потому что желтоволосый человек, которого все называли дядей Федей, выскочил из-за кустов, схватил Белку своими железными руками, поднял над землей и завопил:

— Вот молодец парень, а! Ну и напугал ты меня, чертенок! Ну, лихой казак! Это я ж из-за тебя всю панораму помял и опять мне ее две недели рисовать придется! А она в клубе висеть должна.

А Соня неожиданно заулыбалась и сказала:

— Наш ученик! Чемпион, можно сказать. Хоть сейчас в Альпы.

— Давай-ка сюда панораму! — сказал другой парень. У него на голове был надет носовой платок со связанными в узелки кончиками. Он был ниже желтоволосого, скуластый и тоже с бородой, только черной и красивой. Клетчатая рубаша заправлена в солдатские вылинявшие брюки.

Они вдвоем развернули рулон. Получилась длинная полоса бумаги, на которой очень красиво были нарисованы белые дома над рекой с огромными голубыми окнами, с высокими трубами. А над домами — лес и горы. Федор сказал, что это цеха, что они появятся на месте теперешних безобразных ям и колдобин. Белка узнал и хребет над цехами, и сосняки в распадке, и поворот обрывистого берега. Только берег был выше, а на берегу стояли скамейки и росли молодые деревца.

— Ну как, поэт, нравится? — спросил Федор Белку через головы. — Что ты торчишь там, в стороне, пробирайся ближе!

Но Белка не мог пробраться, потому что пионервожатая Соня опять держала его за руку и шептала:

— Ты как одет, как одет? Почему не по форме? Кто позволил тебе звездочку на какую-то старую майку прицепить? Срам, да и только! Чтобы сегодня пришел в школу к семи! Ты понял? К семи! Чтоб не в церковь, а в школу! Ясно?

Белке было все ясно. И дома ему сегодня влетит как следует за то, что ушел без спроса. И в школе его не ожидает ничего хорошего. И как только пионервожатая отвернулась, Белка потихоньку попятился в кусты. А потом стороной мимо грохочущих машин уныло поплелся домой. Белке казалось, что грохот и лязг падает ему на голову — бум-бум-бах! Было тяжело, плохо от этого и хотелось скорее уйти туда, где тихо.

И вдруг сквозь грохот он услышал звонкий голос:

— Бельчонок! Белка!

Белка сначала так и застыл на месте. Потом рванулся на звонкий зов. Он искал глазами Наташу. Голос был ее, но нигде не видел он вишневого сарафанчика.

— Белка!

Это сказали совсем рядом. Белка обернулся. В обыкновенных пыльных сапогах, черных брюках и черной рубашке, связанная голубенькой косынкой, улыбаясь, стояла рядом Наташа.

— Не узнаешь? Теперь я настоящая?

На этот раз ничего не было волшебного и необычного в Наташе. Разве только косы, блестящей петлей лежащие на спине. И все-таки ни одна девчонка не могла сравниться с ней. Таким ласково-теплым были ее взгляд и улыбка, так нетерпеливо протянула она к Белке руки, взяла за плечи, придвинула к себе близко. В глаза ей ударило солнце, и стали они не се-

рыми, а как недозрелый крыжовник. Глаза радовались, смеялись и не могли налюбоваться на Белку.

— Ты курносый,— сказала Наташа.— И какой бе-елый! Совсем выгорел на солнышке. Ну хоть улыбнись, нельзя же быть таким суровым!

Она потащила его в сторону от дороги и усадила на бревно.

— Ну,— сказала она,— рассказывай.

И Белке почудилось, будто они давным-давно знакомы, никогда ничего друг от друга не скрывали. И что просто ее долго не было, а он ждал. А теперь дождался и непременно должен ей все рассказать. Он посмотрел на ее руку. Большой палец был перебинтован.

— Порезалась? — спросил он.

— Ушиблась, Белка. Вон за теми кучами грунта кладем рельсы и ставим кран. Денька через два начну работать. Так рассказывай! — Она потерела его за рукав.

— В семь часов Соня в школу велела прийти.

— Пионервожатая, что ли? — И это она уже знала.— Прогнала со сбора?

Белка кивнул.

— Соня у вас сухарь. Я уже тут со всеми познакомилась. Всех теперь знаю. Даже с учителем физики разговаривала. А он, знаешь, хороший дядька. Помнит, как ты у него спрашивал, почему вода синяя. Ладно, Бельчонок. Мне сейчас туда надо.— Она махнула вправо, на кучи песка.— Я тоже приду к семи в школу. Договорились?

И, уже убегая, крикнула:

— Жди!

Белка глубоко вздохнул. Все вокруг стало другим. Очень хороший дул ветер. Он нес сюда запахи смоляных лодок, сосны, печного дымка.

Белка сначала пошел, сунув руки в карманы, потом поскакал на правой ноге, а потом на левой. И вприпрыжку, вприпрыжку, свистя и ликуя, пошел, пошел по улице!

И так славно грохотало и бухало у него за спиной! Получалась веселая песенка:

Бум-бах-бамс!

Бум-бах-бамс!

Ноги ловко притоптывали, и легкая пыль круглыми облачками вылетала из-под босых пяток.

Ру-да... На-ту-да... — раздался сзади скрип.

Белка оглянулся, нахмурился. Натуда-Руда изо всех сил догонял его. Белка будто невзначай метнулся в тень, за колодец, что попался по дороге, и незаметно отстегнул звездочку.

— Видал? — сказал Натуда-Руда, хрипя. — Видал, что понаделали? Ископали все, изрыли... И господь бог молчит!

Он выжидающе посмотрел на Белку. Тот не ответил. Тогда Натуда-Руда прокашлялся и спросил:

— А бабка-то что делает?

— Варит, — мрачно сказал Белка, — обед и свиньям пойло.

Тут Натуда-Руда вдруг захохотал, морща опухшую физиономию:

— Видал? Анна-то наша, святая называется! Видал? Меня срамила-позорила, а сама деньги стащила в своем магазине!

Белку, конечно, это удивило, но с Натудой-Рудой он вовсе разговаривать не хотел, отвернулся от него и шагу прибавил. Натуда-Руда рукой махнул, пошел тише и совсем отстал. Но слышал Белка, как скрипит деревянная нога, как хрипло кашляет Натуда-Руда, хихикает и бормочет:

— Святая душа, а? Видал? Заворовалась и сбежала! Ха!

Белка припустился бегом, на ходу вытащил из поленницы рубашку и, так же пригибаясь за плетнями и заборами, путаясь в чертополохе, пробрался на зады огорода. Краем его, прячась за подсолнухами, пробежал к стайке. Торопясь, забрался на горячую крышу и лег — будто тут и спал. От крыши пахло сухим старым деревом и смолой.

Скоро он услышал, как кто-то прошагал к стайке, калитка загончика крикнула, охнула и с шорохом поползла.

«Если бабка — будет ругаться...» — подумал Белка.

И тотчас раздался бабкин голос:

— Окаянная, не отворишь тебя, совсем на землю села! Вот что значит — мужика в доме нету! Давно бы починил, а тут плати чужим...

Больше года бабка бранилась так, открывая по десять раз на день калитку. И все никого не приглашала чинить. То ли денег жалела, то ли забывала.

— Все прибрал, — недоуменно сказала бабка, — а сам куда девался, забродыш этакий! Про него только позабудь, и два часа пройдет — не объявится.

Подошла к забору, прикрыла глаза от солнца прямой ладошкой, прижав ее к бровям. Пошарила взглядом по переул-

ку, по склону горы. Белка глядел на нее из-под локтя и ждал, когда позовет.

— Тимохве-ей!! — прокричала бабка так пронзительно, что позади забора закудахтали куры.

Белка сел, протирая для вида глаза кулаками.

— Тут я...

Бабка обернулась.

— А ну, слазь. Пристал, что ль?

— Ну, устал, конечно, — неохотно ответил Белка, слезая и делая сонные глаза, — уснул нечаянно...

— Ладно уж! — Бабка шлепнула его твердой ладошкой по макушке. — Прибрался ты ничего. Ладно тогда, что и поспал малость.

«С чего бы это бабке быть такой доброй?» — удивился Белка, ожидавший взбучки за долгое отсутствие.

— Батюшка пришел, — сказала бабка, — причеши башку да рожу помой. До тебя пришел отец Алексей. Ишь какой ты чумазый, страсть!

Голос бабки был немножко заискивающий и глаза бегали суетливо — боялась чего-то бабка.

— Сейчас вот уж поговорите, поговорите! Матери-то нету дома, вечерняя смена у нее, а странник по делам ушел. Тут, знаешь, ребята за тобой прибегали утром, а я, старая, запамятовала!

«Запамятовала! Врет все... — подумал Белка. — И с чего бы только?»

Ступил через порог и остановился — после улицы дома показалось темно.

Только широко открытое окошко солнечно зеленело, и на этом веселом зеленом пятне рисовалась фигура отца Алексея.

— Ну, здравствуй, здравствуй, отрок! — приветливо сказал отец Алексей.

Глаза по привычке, и в доме стало светлей. Отец Алексей смотрел на Белку, приятно улыбаясь. Он был очень нарядный сегодня — в новеньком шелковом подряснике, с тяжелой черной тростью и соломенной шляпой, уютно лежавшей на колене.

— Была у меня твоя учительница Антонина Петровна, — сказал отец Алексей, — приходила, сетовала на меня. А потом еще и комсомольская секретарша со стройки, с косами такими. Та и вовсе шум подняла.

Бабка мелко заморгала, не спуская со священника глаз,

и будто присела чуточку. Отец Алексей, конечно, увидел это быстрым зорким взором своим, и тень улыбки пробежала по его лицу. Белка заметил и взгляд, и легкий смех в глазах.

— На сборы не ходишь,— с упреком проговорил отец Алексей,— в кружках не занимаешься, живешь как сектант какой.

Белка смотрел в пол. Вот новость! Почему раньше отец Алексей за это его не ругал! Сколько он интересного пропустил! Никуда ведь бабка не пускала. А уж отца-то Алексея бабка послушалась бы!

— А я и в кино не хожу.

— Ай-яй-яй,— покачал отец Алексей пышноволосой головой своей,— куда же это годится? Разве можно идти против закона? — Он вздохнул.— Нельзя, голубь мой! И тебе оттого неприятности, и мне. К чему это? С законом мы должны жить в мире. Верить в бога тебе никто не может запретить — это законом дозволено. Такое ты можешь сказать кому угодно смело. Но, как ученик, ты должен выполнять то, что от тебя требуют. Пришел бы ко мне, посоветовался: как сделать, чтобы против закона не пойти и богу угодить. Например, кружки. Рисуешь ты неплохо. Вот и пойдешь в рисовальный кружок. Никто тебя не упрекнет. А научишься — глядишь, и распишешь наш скромный храм! Или сборы. Там больше любовь к отечеству обсуждают. Это богу угодно. Отечество ты должен любить, как мать родную, как самого господя нашего. А если там кто против веры скажет — закрой словам тем сердце. Приди обсудить их со мной. Я все объясню тебе, чтобы не было смуты в душе. И в кино ходи. Тоже после побеседуем. Я не откажусь.

Отец Алексей встал, подошел к Белке, потрепал по волосам.

— Не откажусь, ибо очень хочу, чтобы впоследствии пошел ты не куда-нибудь, а в духовное училище, сын мой. Чтобы стал более образованным и знающим пастырем, чем я, старик. Думать о смене пора. Запомни все, что я сказал, сын мой, и ты, мамочка, запомни.

Бабка стояла разинув рот и смотрела на Белку как на диво, только что свалившееся ей на голову. Белка тоже был ошарашен. Так вот, значит, в чем дело! Отец Алексей с бабкой хотят его попом сделать! И потому теперь бабка хорошая! Потому и священник с ним такой приветливый последнее время.

Отец Алексей попрощался с бабкой и с Белкой, как со



взрослым, велел непременно приходить и ушел, сильно стуча тростью по доске, лежащей от нижней ступеньки крыльца до калитки. На Вианора, стоявшего с молитвенно сложенными руками возле сарая, он даже не взглянул.

Раньше Белкино место было на печке да в кухне, а тут усадила бабка внука за стол, притащила кусок холодного пирога с рыбой да половину горячего куричьего бока.

— Ешь, — сказала бабка, — ешь лучше. Вот примешь сан, как вырастешь, живот у тебя будет толстый, и скажут тогда, что ты на хороших хлебах рос. Батюшка-то наш смолоду в полоне у татей жил, у фашистов. Должно, потому и худоват не по сану. Это уж пономарю какому сухое тело иметь кстати, а священнику подобает быть в хорошем теле.

А Белка, уписывая за обе щеки и пирог и курятину, думал о том, что, должно быть, хорошо живется попам, если и пироги, и куры каждый день, а на завтрак оладьи со сливками.

Вон Лексейкин отец — на заводе лучший мастер, а мать — хорошая швея в пошивочной. И живут они неплохо. Все у них есть. Однако не так, чтобы каждый день курицу варить. Сколь-

ко же надо их для этого вырастить? Триста шестьдесят штук в год. И тут Белка вдруг сделал маленькое открытие. Значит, вал вовсе, а сам ел. А если б он их не ел, храм давно превратился бы в курятник.

— И-их, милый,— сказала бабка, сияя,— лучше, чем попом-батюшкой, никем быть не можно. У него хорошее житье, Тимоша. Смирно служит, мягко спит, сладко ест. Это тебе не на заводе коптиться, не по яминам денно и ночью бегать, как приезжие. И жизнь ладно проживешь, и в рай на том свете попадешь.

Села бабка напротив, руками щеки подперла.

— А я ежели, стара, заживусь, то уж печка в твоём доме моя будет. Чтоб могла я напоследок косточки свои погреть.

Тогда Белка спросил:

— Бабушка, а бабушка! Слышал я, Вианор отца Алексея попрекал. Мол, знает он, как тот попом сделался.

Бабка не удивилась, задумалась.

— Слышала, Тимоша. От некоторых неверующих слышала. Будто бы немцы ему сан дали. Сказали так: «Мы тебя казним или иди в церковь служить да нас хвалить». Не все тут, поди-ка, правда. Не поверю я, чтоб батюшка наш фашистов хвалил. Ну, а что от гибели он ушел, храм принял в руки свои, так что же тут плохого? Стало быть, господь наш спас его лично сам.

Тут появился в дверях Лексейка.

— Что же ты удрал? — спросил он.— Тебя потом дядя Федя хватился, по кустам искал.

— Какой дядя Федя? — спросил Белка, изо всех сил мигая.— Куда я удрал?

Но бабка поняла, что не спал он вовсе на крыше, а куда-то бегал. Однако не заругалась, только пальцем погрозила:

— Меня обманешь — не велика беда. Бога нельзя обманывать. Это тебе твердый закон!

— Ага,— сказал Белка,— меня и так за то, что опоздал, в школу к семи вызвали. Пионервожатая Соня прийти велела!

— Иди уж! — сказала бабка, убирая со стола крошки.— Гляди-ка, наелся, поди, до утра. Однако домой приди вовремя. Хоть обещано тебе...— Что обещано, при Лексейке бабка не сказала, а тоже только мигнула, чтоб Белка понял,— хоть и обещано, а отдеру тебя ремнем по первое число!

Сказала она это добродушно, без зла. Белка с легкой ду-

шой выбежал на крыльцо и даже не обратил внимания на ко-
сой, недобрый взгляд Вианора, который теперь сидел на брев-
не возле сарая.

Ой-ой, сколько времени пройдет, пока они Белку пошлют
на попа учиться! Можно будет к тому времени и удрать куда.
Зато пока жить можно ничего себе!

Белка вытащил за ошейник сладко спавшего Рябку и, тол-
кая ему в пасть объедок пирога и куриные косточки, теребя
за теплые уши, сказал счастливо:

— Заживем мы теперь, песик, эх! Выпрошусь у бабки с то-
бой в тайгу и Карлу возьму! Вы у меня подружитесь, поиграе-
те! А то уж совсем ты засиделся, псина моя хорошая...

Глядя в преданные коричневые глаза собаки, много еще
разного говорил Белка. Пока вся дружба их состояла из того,
что между делом Белка ласкал собаку, подкармливая вкус-
неньким, да шептал-бормотал на ухо свои беды и радости.
А вся их совместная дорога была покуда на длину собачьей
цепи, которую Белка ненавидел не меньше, чем Рябка.

8

Лексейка в школу не пошел. Остался на улице дожидаться
Белку. Черноволосая макушка его торчала за окном коридора.
Белка поглядел на эту макушку, позавидовал и несмело по-
шел к дверям учительской.

В школе пахло краской и известкой. В некоторых классах
еще — шир-шир — ширкали кисти и за неотмытыми, заляпан-
ными известкой дверями раздавался громкий смех и голоса
побельщиц.

Белка постучался в учительскую. Никто ему не ответил.
Тогда он постучался погромче. Должно быть, там никого не
было, и Белка осторожно вошел.

В углу на столе черной кошкой свернулся телефон. Два
больших филина свирепо таращились со шкафа. Пониже на
полке сидели две вороны — одна гладкая и сытая, с корич-
невыми бусинами вместо глаз. Другая — растрепанная и сле-
пая. В шкафу в банках сидели лягушки, ящерицы, змеи и да-
же маленький щуренок.

Вдоль стен расставлены были снопы кукурузы, пшеницы,
овса и ржи. И пучки каких-то трав.

«Ну вот, — сказал себе Белка, — тут не хватает только ведь-

мы. Но уж раз надо ведьму, то больше Сони для этого никто не подойдет».

— Ой, мимо! — услышал Белка Сонин голос.

Взглянув в открытое окно, он увидел ее. Соня с кем-то играла в волейбол. Смешно играла. Будто боялась, что ее хо-рошенькая голубая кофточка выскочит из юбки, если она слишком резко поднимет руки. Забавно бочком подпрыгивала, растопыривала локти и едва била по мячу кончиками пальцев. А когда мяч улетал от нее, поправляла кофточку и приглаживала волосы. Круглое лицо Сони было розовым и довольным.

Белка подошел поближе к окну, чтобы посмотреть, с кем она так потешно играет. Возле забора с мячом в руках стоял тот самый парень, что проводил с ребятами сбор на скале, возле штаба стройки. Белка узнал его только по бороде, потому что одет парень был в красивый серый костюм. Должно быть, собрался в кино или на танцы.

Как только Соня увидела Белку, лицо ее сразу сделалось сердитым и даже вся фигура приняла такое выражение, как будто сейчас Соня шагнет на трибуну и начнет речь.

— Ты посиди, — сказала она парню, и тот, с любопытством глянув на Белку, послушно сел на скамью, положил мяч на траву рядом и закурил.

Белка встал к дверям, ожидая. Застучали каблучки. Дверь открылась. Вбежала запыхавшаяся Наташа.

— Успела. Даже переодеться не смогла. Еще на работу придется вернуться, — проговорила она, косясь на филинов. — У-у, страшилища какие!

— Нет, — сказал Белка, — они красивые. Даже очень.

Хорошо у него стало на сердце. Он вышел из своего угла, встал совсем близко к Наташе и даже взялся было за ее локоть. Но тут же отдернул руку — фу ты, как маленький!

— Не бойся... — прошептала Наташа прямо ему в ухо и легонько ткнулась в это ухо холодным носом. Глаза ее смеялись, брови вздрагивали.

— У тебя нос холодный, — засмеялся Белка.

— Ага... — Наташа что-то хотела сказать ему, но вошла Соня и очень удивилась, увидев Наташу.

— Здравствуй еще раз, — сказала Наташа. — Ты отдашь мне Белку сейчас? Он мне нужен.

— Тебе? — удивилась Соня. — Зачем? Разве ты знаешь его?

— Ого! — воскликнула Наташа. — Знаю ли я его? Мы с ним самая близкая родня.

Тогда Соня всплеснула руками.

— Честное слово?

— Самое честное.

— Все,— сказала Соня и подняла палец, будто обрекая Наташу на какие-то наказания,— теперь я тебя буду вызывать из-за него. А то мать не идет, бабка не идет, к себе, можно сказать, не пускают. А с него какой спрос?

— Никого ты больше не будешь вызывать,— ответила Наташа, кладя Белке руку на плечо.— Пойдем, Бельчонок. Нам везде успеть надо сегодня. Учитель физики нас ждет. Я сейчас к нему забежала. Велел тебя привести.

Белка ужаснулся:

— Зачем к учителю физики? Как же это он? Меня — и ждет?

— Чудак! Что же ты, не человек, Белка?

Они прошли мимо Лексейки. Теперь пришла очередь Лексейке сначала удивляться, а потом рассердиться — что это Белка мимо прошел? Задается? Идет с комсомольским секретарем и на него не смотрит. А Лексейка, может, ох как хочет с ней тоже рядышком идти. Пусть мальчишки поглядят и позавидуют. Ее сам Федор слушается, а директор завода, громогласный человек, говорит с ней тихим, смирным голосом и называет Натальей Павловной. Лексейка не любил сдаваться сразу и побежал следом вприпрыжку. А когда кто-нибудь из мальчишек разинув рот глядел на Белку и Наташу, Лексейка делал вид, что отстал, потому что пряжка на сандалиии сломалась. А потом догонял их, а мальчишке показывал язык. В другой раз ему надавали бы хороших плюх за это. Но сейчас мальчишки только шмыгали носами или в крайнем случае украдкой показывали кулак.

Один только Сережка Гвоздилин сказал, сплюнув сквозь зубы:

— Тьфу! Подумаешь! У нас вчера сам главный инженер чай пил!

И хоть отец Сережки был лучшим литейщиком на заводе и к нему вполне мог прийти главный инженер стройки, никто Сережке не поверил. И все поняли, что Сережке больше других хочется оказаться на месте Белки или в крайнем случае Лексейки.

Учитель физики снова возился в саду. Только теперь уже не с яблонями, а с цветами. Их было целых четыре больших гряды, а сколько узеньких грядочек и разных там кусочков

и уголочков, этого Белка сосчитать не смог. Те цветы, с которыми учитель физики что-то делал, были высокими, выше его колен, и цвели пышными розовыми шапками. От них пахло сильно и сладко.

— Ага,— сказал учитель физики, сдвигая на затылок соломенную шляпу, залатанную чистой желтой тряпочкой,— ага! Пришли!

Он встал, вытер руки платком, кивнул на цветы и спросил:
— Ну-с? Видали? Хорошо?

Белка от смущения промолчал. Наташа кивнула улыбаясь.

— Флоксы,— сказал учитель физики, глядя на Белку.

— У нас таких в лесу нету,— пролепетал Белка.

— Верно заметил,— сказал учитель физики,— это американцы. Ты что-нибудь читал про Америку?

— Нет,— ответил Белка виновато,— не читал.

— Ну, это не страшно. Ты еще не старик. У меня книг много, дам тебе про Америку. Только не порви и не запачкай. Как ты насчет книг? Читаешь?

Белка прокашлялся.

— Читаю. Только не дома. У Лексейки Воронова. У него про космонавтов есть. И про зверей. Большими буквами...

— А дома что ж?

— Дома бабушка не велит. Только учебники разрешает. Голову, говорит, забивать незачем. Там, говорит, одни выдумки.

Про мать Белка нарочно не сказал. Как-то стыдно было признаваться, что бьет его мать.

Учитель ничего ему не ответил. Только переглянулись с Наташей, задумались оба.

Белка смотрел на диковинные цветы едва дыша. Надо же! Что ж это выходит? Учитель физики, что ли, в Америку ездил? Белка пальцем потрогал лепестки.

— Так какой же ваш главный вопрос? — спросил учитель физики.— Только сначала сядем. Вон туда, где розы.

— Какой же у нас главный вопрос? — Наташа потрогала Белку за руку.

Он обо всем на свете забыл, глядя на низкие кусты, усыпанные оранжевыми, красными, белыми розами.

Тогда учитель физики сам сказал:

— Почему вода синяя?

Белка поднял голову. Оба они смотрели на него, глаза их смеялись, но ничего обидного не было в этом. Впервые Белка

разглядел как следует лицо учителя, совсем некрасивое, худое, но вовсе не важное, как ему казалось раньше, а по-хорошему лукавое. Тогда Белка сам рассмеялся и сказал:

— Конечно. Почему?

— погоди,— ответил учитель и встал,— погоди.

Он сходил в дом и вышел с книжкой, тонкой, весело раскрашенной — на синем и зеленом плавали рыбы и росли красные деревья.

— Вот. «Чудеса моря» называется. Как раз для тебя. Если что не поймешь — спросишь. Я так красиво рассказать не могу. А бабке своей скажи, что прочитать эту книжку тебе учитель велел.

За воротами взяла Наташа Белку за руку, помолчала, кусая губу, потом сказала:

— Никуда бы я не отпустила тебя, Бельчонок. Никуда. Забрала бы к себе. Как мать-то сейчас?

Белка пожал плечами.

— Бабка-то хорошая. Сегодня отец Алексей у нас был. Говорит, на священника учить будем. После школы, мол, везде ходи — и в кино, и на сборы. Только потом ему все рассказывать велит. Бабка-то и добрая теперь. Много есть заставляет. Чтоб это... пузо потом толстое было...

Наташа засмеялась. Только невесело. Потерла лоб узкой ладошкой. Постучала каблуком, щурясь,— сильно, должно быть, думала о чем-то.

— Ах, ты!— Она прижала Белкину голову к себе так крепко, что даже уши больно стало.— Ну иди пока. Если худо будет — беги к нам. На стройплощадке меня найдешь. Или в самой крайней палатке буду.

Улыбнулась Белке, мигнула весело. Только сквозь все это увидел Белка грусть и беспокойство.

— Ладно,— сказал он, хмурясь,— ты сама-то не бойся. Я ведь такой!

И пока она шла по улице, смотрел ей вслед. Наташа несколько раз оглянулась, каждый раз поднимала руку — всего, мол, тебе хорошего!

Лексейка терпеливо ждал его.

— Ну что? — спросил он.— У меня ноги от голода трясутся. Ишь, книжка какая-то! Долго же тебя держали! Попало, что ли?

Белка вздохнул:

— Маленький ты еще. Чуть чего — и попало!

— Как дожидаться, так и маленький! Пропал бы совсем этот твой бог! Ругают из-за него, ругают. Мальчишки даже все смеются. Мне прошлый раз и то по шее попало. Говорят, будто я скоро начну молиться вместе с тобой. Думаешь, приятно — по шее?

— А зачем тогда ходишь ко мне? — спросил Белка. Лексейка пожал плечами:

— Так интересно же! Ты про лес все знаешь, рыбалишь здорово, а лазишь как — ой-ей-ей! Правда, Белка, забрось ты этого бога подальше, а? Я так вот нисколечко в него не верю! Мне папаня все про бога рассказал. А про тебя он говорит: «Умный Белка твой, только одураченный».

Белке, конечно, приятно было слышать, что отец Лексейки все-таки считает его умным и что сам Лексейка дружит с ним, хоть ему и попадает от ребят.

И Белка сказал:

— Кто верит в бога, тот не видел, что он есть. А кто не верит, тот не видел, что его нету. А надо увидеть точно, есть он или нет. Так трудно разобраться. Я же говорю тебе, что ты еще маленький. Ты разве свое думаешь? Тебе что отец сказал, то ты и думаешь. А я сам хочу все знать. Так я не хочу: сказали — нету, значит, нету. Или наоборот. Тут надо самому разобраться.

Они подходили к Белкиному дому.

— Ладно уж... — примирительно проговорил Лексейка. — Дай мне хоть огурец или морковку, я тогда маме скажу, что у тебя ел. А то попадет мне, что полдня голодный.

Белка заглянул через забор: на дверях висел большой замок. Мать домой еще не вернулась — рано, а бабка ушла, наверное, в церковь. Вот здорово!

— Поиграем с Рябкой в пограничников? — спросил Лексейка.

— Ладно. Только сначала айда на огород! — сказал Белка. — Без бабки огурцов во как наедемся. Только не рви с одной лунки, бери с разных. У нас нынче семь гряд огурцов, не заметит.

— Наживается, значит! — заметил Лексейка.

— Наживается... — не обиделся Белка.

Пока Лексейка ел, Белка запрятал книжку в подвальчик в сарае.

Белка проверил, заперта ли калитка, чтобы Рябка, чего доброго, не выскочил. Отстегнул от ошейника цепь. Рябка, весело скаля зубы, завертелся по двору, то крутясь за своим хвостом, то гоняясь за воробьями.

— Ну-у,— рассердился на него Лексейка,— пограничные собаки так не скачут из-за воробьев! Будто дворняжка.

— Ко мне! — позвал Белка, шлепнув себя легонько по колену.— Ко мне!

Рябка перестал скакать, послушно подошел.

— Все, наверное, позабыл,— сказал Лексейка,— давно не играли. Давай сегодня ты будешь диверсантом, а я пограничником. А то вдруг он меня цапнет не понарошку, а по правде?

— Ладно,— согласился Белка,— давай! Только я сначала проверю. Может, он какие команды забыл.— И сказал громко: — Лежать, Рябка, лежать!

Рябке не хотелось лежать. Он вильнул хвостом, облизнулся, хитро и виновато глядя на Белку.

— Лежать!

Рябка вздохнул и, крутя головой, будто у него чесалось ухо, лег у ног Белки.

— Теперь ползи,— сказал Белка, берясь за ошейник,— ползи! Ну!

Он сделал шаг вперед, и собака поняла.

— погоди, сейчас все будет в норме! — ликуя, сказал Белка.— Еще ползи, еще ползи...

Теперь Белка стоял, а Рябка, оглядываясь изредка, полз один.

— Вперед! — крикнул Белка.— Быстро!

Рябка вскочил и, громко лая, помчался вдоль забора по двору.

Белка притащил из подвала старую, драную ватнушку, надел ее и спрятался за поленницей. Игра в пограничники началась.

Рябка ползал, нюхал след, выискивал Белку то в сарае, то в подвале, то в огороде за подсолнухами или в картофельной ботве. Каждый раз он прыгал, радовался, трепал Белку за рукав и полы, а Белка вздыхал и жаловался:

— На волю бы его вывести! Проверить там! А тут что — сто шагов сюда, сто — туда. Разве это расстояние?

Потом стали играть в почту. Белка писал записку, привязывал к ошейнику Рябки и командовал:

— Неси!

И Рябка нес записку Лексейке.

— Слушай,— сказал Лексейка,— когда еще бабка твоя придет, давай так сделаем: я домой уйду, а ты с ним за мной. Найдет он мой след или не найдет? Вот моя тюбетейка, дашь понюхать.

«Если бабка вдруг явится, вот уж я влипну, так влипну»,— подумал Белка, но так просил его Лексейка, так глядел в глаза Рябке, будто понимал, о чем они говорят. Ему и самому сильно хотелось узнать, найдет ли Рябка Лексейкин след на улице.

Лексейка убежал. Белка привязал к ошейнику веревку. А минут через семь, накрутив ее крепко на руку, вывел Рябку в переулок. Сунул ему под нос старенькую, затрепанную Лексейкину тюбетейку и попросил:

— Ищи, Рябка, ищи!

Рябка понюхал тюбетейку, потом повел носом по воздуху и резко рванул к забору. Там сидел кот Мартын с каким-то чужим котом.

Белка упал от резкого толчка и больно ушиб локти. Однако веревку не выпустил.

— Стоять! — крикнул он. — Стоять!

Кошки, задрав хвосты и фыркая, убежали. Рябка виновато скулил.

— Эх, ты,— сказал Белка,— как не стыдно! На, нюхай, ищи!

Белка ткнул Рябку носом в пыль, в отчетливый отпечаток Лексейкиной сандали. И Рябка, будто зацепившись мокрым своим носом за этот след, пошел-пошел по переулку! Вот уже появились и чужие следы, однако Рябка не отрывал носа от земли.

— Ищи, Рябченька, ищи...— уговаривал его Белка.

Тут, как назло, выскочила из-за угла чья-то плюгавенькая собачонка с поджатой лапой. Рябка опять рванул, опять уронил Белку и даже протащил немного по дороге.

Белке казалось, что Рябка очень хорошо слышит Лексейкин след. Они уже на порядочное расстояние ушли от дома. Рябка вел правильно. Но стоило на дороге появиться петуху, кошке, собаке, как Рябка забывал про все следы на свете и сломя голову рвался из рук. Белка вывалился в пыли, по-

рвал рубашку, оцарапал щеку и нос, веревка врезалась в ладонь, и пальцы совсем посинели. Ему хорошо было видно крышу Лексейкиного дома. Лексейка то сидел, то бегал по крыше, глядя издалека на Белкины страдания, размахивал руками и что-то, видимо, кричал.

И в ту минуту, когда Белка окончательно решил, что ничего путного из Рябки не сделаешь, пес замер, уткнувшись носом в землю, взволнованно засопел, раздувая пыль, и с какой-то бешеной веселостью потащил Белку прямо посередине улицы.

Лексейка запрыгал на крыше. Но Рябка прошел мимо Лексейкиного дома. Он нюхал что-то свое, ему одному известное. Ни секунды не задерживаясь у Лексейкиных ворот, все быстрее и быстрее мчался Рябка по улице.

Возле небольшого новенького домика с тощими молодыми березками он остановился, ударил в калитку лапами. Калитка открылась. И Белка увидел Петра Петровича.

На крыльце перед ним сидел маленький лысый дядька и глупо улыбался. А тут же стояла, утирая ладошкой заплаканные глаза, та самая бабенка, что жаловалась прошлый раз отцу Алексею на своего пьющего мужа. В открытом окошке на подоконнике сидел худенький младенец, держал за палец старуху с сердитым безбровым лицом. Младенец и старуха сильно походили друг на друга.

— Честно признаться,— говорил Петр Петрович,— я на твоём месте давно выгнал бы его в три шеи. На что он тебе сдался? Морока одна от него! Ты молодая, здоровая и даже красивая...

Стук калитки услышала только старуха и хотела было закричать на Белку. Но Рябка подбежал к Петру Петровичу и лизнул в руку. Петр Петрович удивленно обернулся.

— Вот те раз! — вскричал он. — Вот здорово! Какими судьбами?

Перепуганный Белка сказал:

— Это он сам, Петр Петрович! Ей-богу, сам!

Петр Петрович присел на корточки, обнял Рябку.

— Ты все поняла, Лизавета? Все поняла?

— Все, Петя... — тихо сказала Лизавета.

А лысый дядька, так же глупо улыбаясь, дернул узкими плечиками и жалобно сказал:

— Дак я попробую, товарищ Баландин. Я уж пробовал. Я смирный, не дерусь. Только бросить не получается.

— Небось! — сказал Петр Петрович, трепля Рябку за уши. — Небось! Притяну тебя покрепче — получится! А то обыкновенный пес тебя умнее и понятливее и ведет себя вон как прилично!

Дядька опять дернул плечиком и потупил глаза.

— Ну, рассказывай, как и что, — сказал Петр Петрович, когда они вышли за ворота.

Рябка вышагивал рядом с Петром Петровичем, стараясь почаще задевать боком сверкающий сапог. Рябка был смущен, горд, счастлив и, странно, не замечал больше ни кур, ни гусей, ни чужих кошек.

— Талант! — разволновался Петр Петрович, выслушав Белку. — Я, понимаешь, это отлично понял давно. Слушай, Белка, ты мне его отдай, а?

Разве друга отдают? Белка молча посмотрел на Петра Петровича. Тот толкнул пальцем козырек фуражки вверх и развел руками, топорща широкие брови.

— Ты уж меня прости, пожалуйста. Но мы бы с тобой вместе его настоящим разведчиком сделали, хоть он и неподходящей породы. У тебя здорово получилось с дрессировкой. Поднатаскал ты его.

Ну, вместе — куда ни шло. И Белка сказал:

— У бабки спрашивайте. Я не командую.

— Д-да-а... — Тут Петр Петрович озадаченно надавил пальцем на козырек сверху и фуражкой прикрыл брови.

Они расстались на углу переулка. Петр Петрович дал Рябке кусочек сахара, а Белке — маленькую пустую гильзу от пистолетного патрона. Такая гильза была только у пятиклассника Кима Таирова. Ким задавался, а мальчишки завидовали. Шутка, что ли, ведь гильза была от патрона, расстрелянного в поединке с бандитом-браконьером! Интересно, а у Белкиной гильзы была история? Он не решился спросить сразу.

В конце переулка показался и исчез Санька Перепеличко. Сначала Белка ринулся за ним — так хотелось показать ему гильзу. Уж Санька сразу бы рассказал всем, что за подарок получил от Петра Петровича Белка.

Но, вздохнув, передумал. Пусть уж посмотрит один Лексейка. Он все-таки друг. И к тому же это было бы обыкновенным хвастовством. А отец Алексей сколько раз говорил, что хвастаться ни к чему. Ни один человек не стал еще от этого лучше.

Отвел Белка Рябку домой, посадил на цепь и отправился к Лексейке.

Бабонька Татьяна вязала полосатый носок, сидя на резном веселом крылечке. Возле нее туда-сюда сновала кошка, подняв хвост трубой, и терлась о локоть бабоньки Татьяны.

— Иди-иди,— ворчала на нее бабонька Татьяна,— утащила котлету, слизала сметану с пирога... И нечего, и нечего... Никаким твоим извинениям вовек теперь не поверю!

На Белку бабонька Татьяна поглядела поверх перевязанных черными шнурочками очков.

— Ага,— сказала она, бойко постукивая спицами,— пришел-таки! Лексейка на тебя серди-ит! Куда же ты запропастился? Внушек тебя ждал-ждал да и ушел рыбачить. Сказал— допоздна не вернется.

— Вот еще! — сказал Белка, обижаясь.— Это все Рябка...

Бабонька Татьяна отложила вязанье в угол крыльца, поправила горошковый платок, поманила Белку рукой, пошла вперевалочку к летней кухне.

— Сядь,— приказала, погрозив пальцем.— Ишь ты, дуться вздумал! Я сейчас узелок соберу, крючков и леску тебе дам, удочку сам срубишь. Иди Лексейке вслед.

В чистую салфетку сложила она пироги и плюшки, огурцы и холодную картошку, налила бутылку молока.

А когда повернулась к Белке, увидел он — плачет бабонька Татьяна. Бегут слезы по щекам.

— Что вы? — испугался Белка.

— Иди уж, иди! — будто сердясь, ответила бабонька Татьяна.— Да кожушок вон тот с забора сними, а то как за холода к ночи, так и замерзнешь.

Раньше мальчишки рыбачили прямо у поселка, сидя в лодках. А теперь надо было сначала пройти через всю стройплощадку и обогнуть мысок. Лодок там не ставили и ловили рыбу прямо с камней, будто нарочно набросанных в реку.

Белка решил пройти прямо за мыс, нигде не задерживаясь. Только посмотреть на всякий случай, нет ли где поблизости Наташи.

Но только поднялся вверх по улице и миновал последний дом, как увидел высоченный кран в самом центре, между нарытыми котлованами и песчаными кучами. Никто не работал на стройплощадке, не рычали машины и бульдозеры, ничто не бухало и не грохотало. А все люди собрались вокруг крана, смотрели вверх, кричали что-то и смеялись.

А сбоку на самой высокой высоте приникла, точно стриж, к легкой лесенке Наташа. Ветер трепал ее длинные косы, и поселковые бабки, собравшись вместе, ахали и удивлялись, с чего это девчонке пришло в голову заниматься таким неподходящим делом.

Конечно, Лексейка вместе со своей удочкой торчал, разинув рот, возле крана. Он хотел что-то сказать Белке, но не успел. Наташа увидела Белку, замахала рукой, и Белка понял, что она зовет его. Расталкивая веселых людей, он пробрался к подножию крана. Там его чуть было не схватили, но он ловко вывернулся, прыгнул к лесенке и, счастливый, глядя только туда, где плескались по ветру блестящие косы, полез вверх.

Внизу закричали еще пуще, но он уже стоял рядом с Наташей, она крепко обнимала его за плечи. Тогда он посмотрел вниз.

Не в первый раз видел он свой поселок как на ладони. Высотой Белку тоже удивить было трудно. Куда уж крану до Мохового Лешего!

Но непонятное волнение охватило его, и сердце застучало сильно. Возле щеки плескался красный матерчатый флажок, а внизу, вырисовываясь ясно на вздыбленной земле, лежали огромные квадраты и прямоугольники, каждый с добрый поселковый квартал.

— Что это? — спросил Белка.

— Фундаменты. Здесь будут цеха. И дальше, — Наташа показала на поселок, — на месте крайних улиц, тоже будут цеха. Там сейчас пока колышки...

Белка жадно смотрел. Сверху серые блоки, обрисовавшие контуры будущих цехов, казались не такими уж большими. Но Белка-то знал, как велики и тяжелы они!

— Ты посмотри, — сказала Наташа, — отсюда и дорогу на Большуху немного видно.

Дорога уходила в распадок широко и прямо. Таких дорог Белка не видел никогда.

Люди возвращались от крана к своим бульдозерам, машинам, тракторам, крича напоследок Наташе разные хорошие слова. Давно ли Белке казалась бесполезной суетней вся их непонятная работа. А теперь видел он их, веселых, свободных и сильных, и такими маленькими и смешными представлялись ему свой дом, бабушка, мать, Вианор и все побрякушки в церкви, перед которыми так трепетало раньше его сердце.

— Ну как, хорошо? — спросила Наташа, смеясь и заглядывая ему в глаза.

— Хорошо, — сказал Белка, — даже очень!

— Тогда — вниз! — скомандовала Наташа. — Я вижу там твоего одинокого приятеля с удочкой. Хочешь, я пойду с вами на рыбалку?

Наташа сбегала переодеться, а Лексейка — отпроситься на ночь. И ушли они не за мыс, а дальше, совсем далеко, где под березняками лежали прошлогодние картофельные поля, не засаженные нынче, заросшие сочной густой дремой.

— Здесь и остановимся, — сказала Наташа.

Спускались сумерки. Один за другим просыпались загадочные цветы ночницы — дремы, открывали пристальные белые глаза, и опасный, сладкий запах плыл над поляной, кружа голову.

Белке казалось, что запах этот поднимается прозрачными густыми струями, как жар от углей, что воздух вокруг дрожит и колеблется.

— Красиво-то как! — сказала тихо Наташа и пошла через поляну, раскинув руки, сквозь струи дурманного запаха. Она словно плыла над синей зеленью дремы, над таинственно мерцающими цветами.

И Белка думал, остановясь, что сейчас, вот сейчас оторвутся лепестки от мягких трав и как белые бабочки облепят тонкие руки Наташи и легкие ее косы.

— Постой! — крикнул Белка. — Иди к нам!

Наташа обернулась. Глаза ее были закрыты, губы улыбались.

— Нельзя! — сказал Белка. — Нельзя оставаться тут!

Наташа плыла уже к ним, касаясь дремы пальцами, и все так же странно улыбалась.

— Вот видишь, — расстроенно сказал Белка, — от нее всегда в голове все путается.

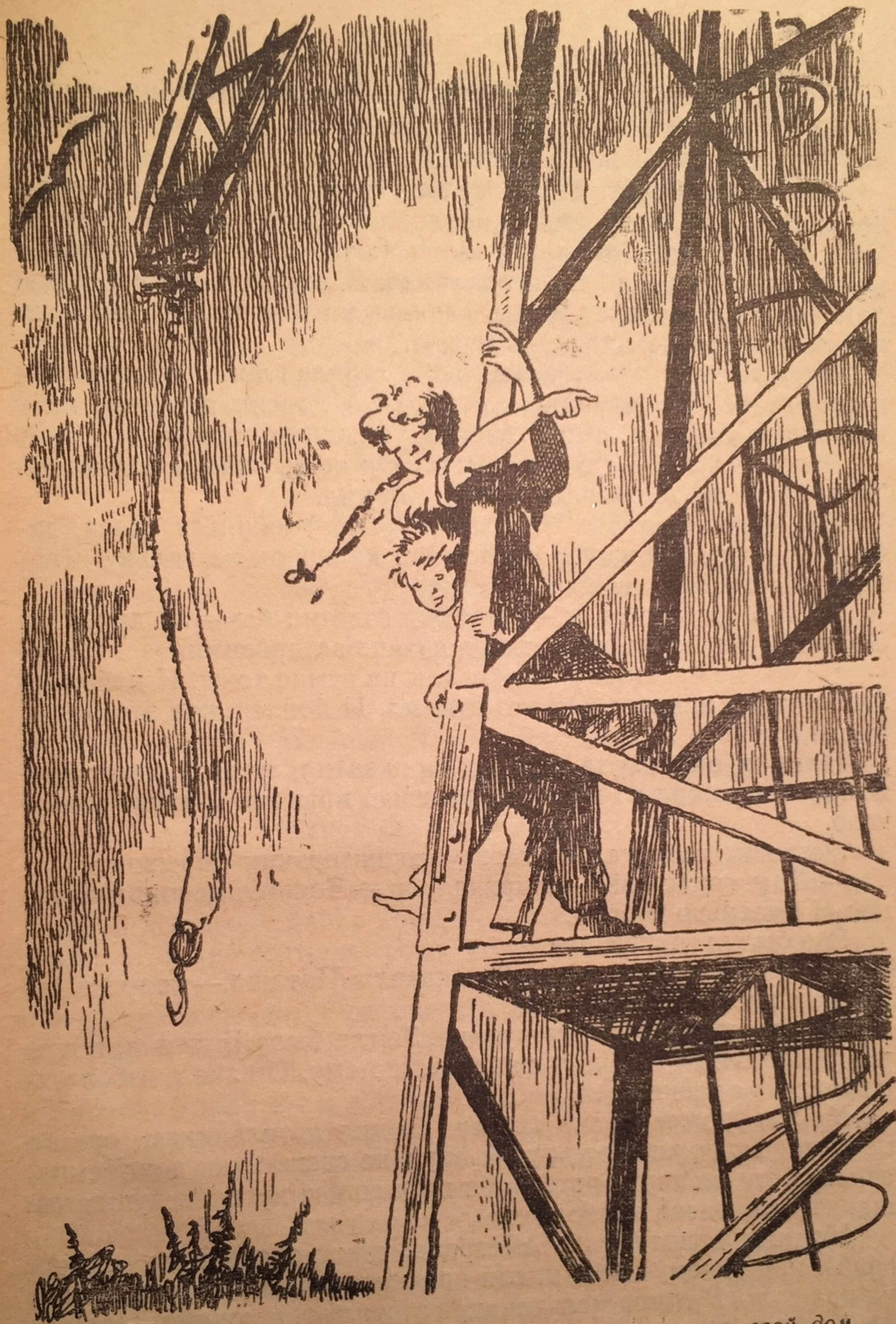
— От кого? — спросил Лексейка.

— От дремы. Дух у нее вредный.

Но Наташа вдруг закружилась, засмеялась, побежала и уже не странным, а просто веселым и счастливым было ее лицо.

— Ты глупый! — кричала она. — Ты еще глупый человек, Белка! Ты не понимаешь, что это, не понимаешь!..

Она ломала хрупкие стебли дремы, кидала их вверх, зарывалась в них лицом. А потом вдруг успокоилась, взяла мальчишек за плечи, повела к реке.



...Такими маленькими и смешными представлялись ему свой дом,
бабка, мать, Вианор...

— Милые, хорошие мальчишки, — сказала Наташа, — ведь это моя земля, моя родная прекрасная земля, я живу на ней, я люблю ее больше всего на свете!

Белка оглянулся. Поднимались огромные горы, а цветов дремы уже не было видно. Поляна спряталась за бугром. С бугра же, выше плеч, вправо и влево до самых тальников раскинулись заросли белоголовника. Здесь пахло рекой и медом. По серой гальке у воды, качаясь на тонких высоких ножках, ходила гладенькая трясогузка.

В пустынном золотистом небе стояла луна, прозрачная и ничего не освещающая, потому что до сих пор еще небо наполнено было теплом и светом ушедшего солнца.

Это была его, Белкина, земля. Он тоже сильно любил ее. Только почему-то никогда о том не думал.

Белка посмотрел в Наташины размечтавшиеся глаза, забывшие о нем. Положил осторожно кожушок на гальку и пошел себе тихонько по берегу.

Если б его спросили — куда, он ответил бы — за дровами. Но его не спросили, а шел он вовсе не за дровами.

В небе не чувствовал он бога, и на земле тоже. И небо было Белкино, и земля. Он это открыл. И боялся, что это вдруг исчезнет.

Наташа окликнула его. Он прихватил сухое тонкое бревешко и потащил по гальке. Бревешко прыгало в руках и звенело.

Лексейка выбежал из леска над низеньким обрывом.

— Там грибо-ов!.. — закричал он. — Только непонятно какие. Я маленько набрал.

Это были рыжики.

— Ах ты, — с сожалением сказала Наташа, — сварить их не сваришь, а солить долго!

Белка взглянул на нее лукаво. Земля была Белкина, и все, что росло на ней, тоже принадлежало ему. Он знал, что можно сделать с рыжиками.

Молча разжег Белка костер, сходил к тальникам, срезал перочинным ножиком упругий прут, не спеша, как дед Демид, очистил его от коры, потом обсыпал солью крепкие душистые шляпки и нанизал их на прут.

Наташа с интересом смотрела, как поворачивал Белка грибы над огнем, как темнели краешки шляпок и пузырилась на них соль. Наташа потихоньку готовилась к ужину — стелила бумагу, доставала еду. Наконец Белка по одному снял

с прута рыжики и сказал Лексейке, уже сидевшему над удочкой на камне:

— Иди... грибы поспели!

После ужина они рыбачили, и Наташа то пела, то рассказывала им, как строила один город на большой-большой реке, а другой — среди степей. И что отсюда она не уедет, пока на месте Ольховки не вырастет третий в ее жизни город. И очень может быть, что она так тут и останется навсегда.

Далеко теперь от Белки был его дом, далеко! Как будто он ушел из него. Спать он лег у костра. Плыли перед ним большие белые города, и Белка хотел, чтоб они приснились ему. Но пришел сон, без людей, без страхов, и, как речная теплая волна, укачал его сразу.

Вернулся домой Белка к полудню. Двор встретил его тихо. Замок все так же висел на дверях и черным глазком скважины мрачно смотрел на теплый мир, в котором желто и мягко светило солнце, стояли распаренные дневной жарой тополя и березы.

Белка досыта напоил Рябку из бочки и напился сам той же воды, слегка пахнувшей тиной. Поглядел на себя в блестящий кружок воды с облаками, мигнул своему оцарапанному, чумазому отражению со взлохмаченным пшеничным вихром и окунул голову в нагретую солнцем воду.

Потом сел на горячий сруб колодца, тоже запертого на замок. Колодец был близко к калитке. Рябкина цепь не доставала до него, и бабка каждый раз запирала колодец, когда уходила. Белка соорудил рожу колодезному замку, младшему брату того, что висел на дверях. Белке было наплевать на эти оба замка и на то, куда они его не пускают, потому что он напился, есть не хотел и с удовольствием удрал бы на берег, где бухало и грохотало, а потом в тайгу с дедом Демидом и Рябкой. Удрал бы и жил там сколько захотел, вольный, как вон тот далекий самолет, что летел мимо куда-то. Мимо, потому что над глухой таежной Ольховкой не проходила ни одна трасса, а все стороной. Хорошо же это — быть охотником!

И вдруг Белка вспомнил разговор с отцом Алексеем и стал вообразить, что он, большой и лохматый, в полном облачении стоит в церкви на амвоне. А вот он вышел на крыльцо, и ему везут всякое добро за то, чтобы он помолился. Не петухов, конечно. Шоколадные конфеты «Чайка», сразу два ящика.

И газировку с непонятным названием «Крюшон». А еще — пироги с малиной и сметаной. А он стоит себе и поглаживает толстое пузо.

Белка захохотал: вот еще — пузо! Вот еще — в попы идти! Лучше, однако, таким делом заниматься, через которое узнаешь, почему вода синяя, небо — голубое и вообще почему все такое, как есть, а не какое-нибудь другое. А заодно дрессировать собак.

Вдруг что-то обрушилось Белке на голову, и он слетел с колодца к поленнице на каменно утопанную землю. Над ним, разъяренная, сжимая кулаки, стояла мать.

— Вот ты как! — наступая на него и задыхаясь почему-то, кричала она. — Вот ты как, гаденыш! С комсомольцами подружился! Гуляешь-разгуливаешь!

Белка вскочил и попятился от нее к забору. Мать замахнулась, Белка повернулся, чтоб перескочить через забор. И попал в руки Вианора. С обросшего белесой щетиной лица на Белку смотрели сощуренные глаза. Вианор встряхнул Белку, приподнял над землей. Но тут, хрипло рыча, откуда-то из-под крыльца вылетел Рябка и с размаху обрушился на толстые Вианоровы плечи. Щелкнули оскаленные клыки. Вианор выпустил Белку и закричал. Морда Рябки совсем утонула в лохмотьях разорванной вмиг серой рубахи странника. Вианор упал и пополз, волоча на себе рычащего Рябку.

Мать схватила полено.

Избитого Рябку заперли в сарай. Белку мать драла веревкой, приговаривая:

— Ишь ты, заступников себе выискивает! Чихала я на твоих заступников! Мать ты должен слушать больше всего. Выколочу дурь живо!

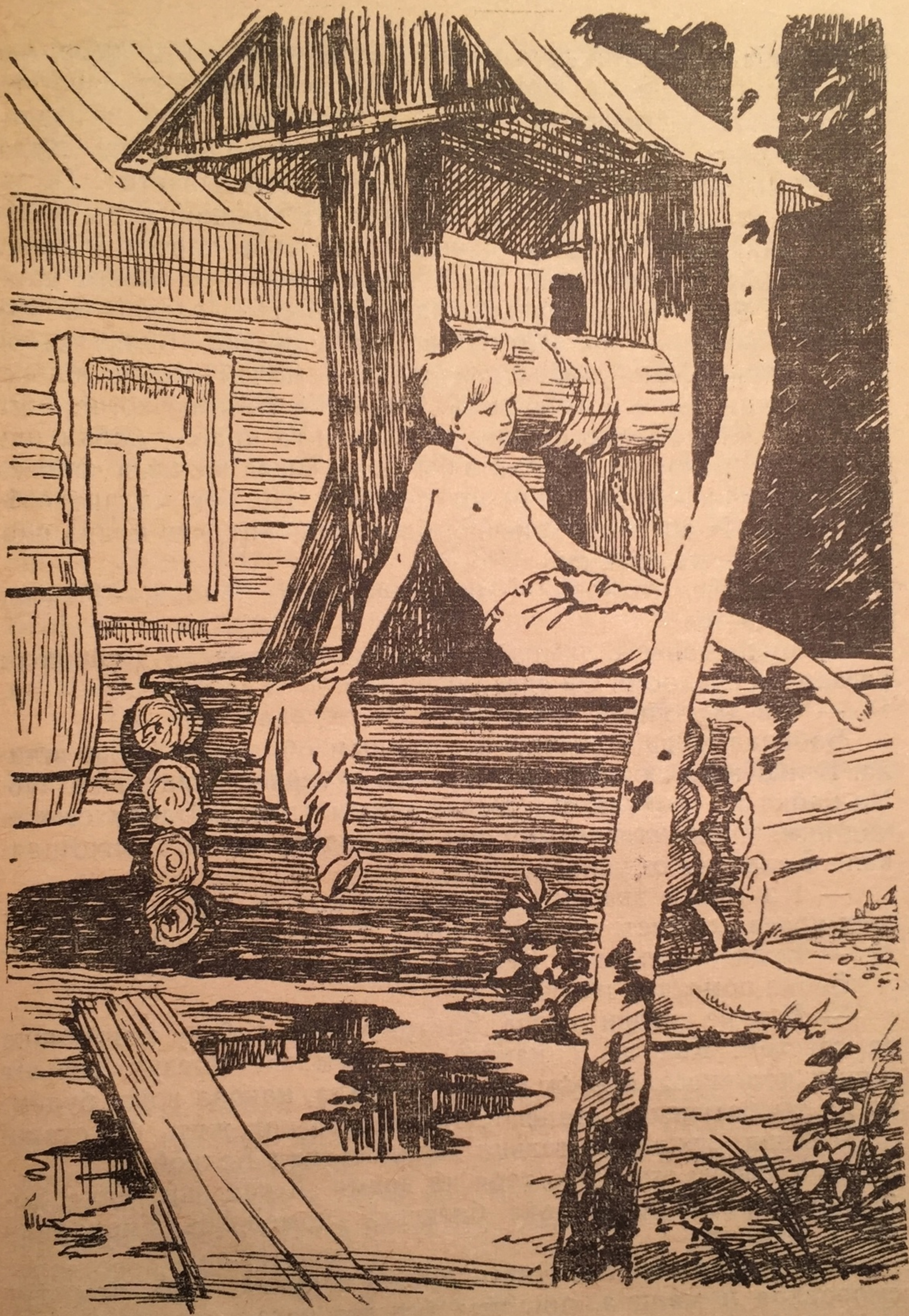
Вианор стоял рядом и с одобрением говорил:

— Учи его, учи. Совсем от бога отступился, сорванцом стал!

Дома ни Вианор, ни мать не остались. Заперли Белку на замок. Окно в кухне и другое — в горнице — подперли с улицы жердями. Остальные окошки никогда не открывались.

Белка лежал на скамье возле стола и плакал. Наступал вечер, темнело. Тихо было дома, даже кот Мартын, счастливчик, остался на улице. Слышно было, как Рябка скулил в сарае. Бабка пришла поздно ночью. Не зажигая огня, села за стол. От ее новой юбки пахло ситцем и свечами.

— Ты что же, господи, — спросила она с горечью, — или



Двор встретил его тихо.

испытываешь сердца человечьи? Уж вернее рабы тебе, чем Дарья моя, не было. Прилежна, скромна, молебственна. Ни шага без имени твоего. А теперь? К дармоеду этому, тунеядцу перекинулась. Замуж за него собралась. Кого он ищет? Дураков! Чтоб его кормили-поили. И верой прикрывается. Ты же видишь, жулик он, жулик и дармоед. И никакой веры в нем нету! Накажи его! Зачем даешь стадо свое портить? Зачем даешь вору и обманщику овец твоих угонять с твоего пастбища? Я без сил обманутым глаза открыть,— сделай ты это!

Бог, конечно, молчал. Он всегда удивлял Белку такой странностью. Хоть убейся перед ним — молчит, да и только! Как хочешь, так его и понимай. Это тоже было нечестно с его стороны. Что бы стоило ему сказать, кто прав — бабка или мать с ее Вианором. Все было бы ясно. Тогда каждый человек Вианору показал бы от ворот поворот. Но бог молчит себе загадочно. И поэтому, конечно, бабка говорит, что права она, а Вианор — что прав он.

— Как же, господи? — опять спросила бабка. — Почему так получается?

Трещал огонек в лампаде. У Белки заглодело в груди от внезапной смелости. Он сказал:

— Бог двуличный, вот и все.

Бабкина юбка колыхнулась черным облаком, бабка встала. Белка весь сжался, зажмурился — сейчас схватит за чуб. Но бабка не тронула его. Белка открыл глаза. Бабка стояла над ним, держа стиснутые руки под подбородком, и тихо плакала. Белка сел от удивления.

— Ничего не знаешь? — спросила бабка. — Вианор из наших краев уезжает. И мать увозит. Сказали, и тебя заберут.

— Куда? — закричал Белка. — Я никуда не поеду!

Бабка помотала головой.

— И-и, не говори лучше. Завтра утресь побегу к батюшке за советом. Как же с нашей-то задумкой? Увезут, собьют с пути истинного, а я уж совсем решила, каково жить будем, когда ты батюшкой станешь. Хорошо-то как жить бы стали!

Бабкино сухонькое тельце качалось над Белкой.

— Уговорю его взять тебя на время. А как они уедут, домой возвернешься. А пока батюшке поможешь смородину снять, малину.

Белка никак не мог унять дрожь в руках. При чем тут смородина и малина, при чем тут все остальное, когда его хочет забрать к себе такой страшный человек?

— Нет! — закричал Белка, метнувшись к дверям. — Я уйду сейчас! Сейчас уйду! К Наташе, туда!

Тогда бабка проворно схватила Белку за рубаху и тоже закричала:

— А-ах, вот как! Туда! Нет уж, туда ты не пойдешь! К безбожникам этим? Сама не допущу!

Всю ночь ни бабка, ни Белка не сомкнули глаз. Только притворялись, что спят. Белка на скамейке, бабка на табурете у печки. Караулили друг друга. И если б даже задумал Белка уснуть, ничего бы у него, наверное, не вышло. Стоило ему только попытаться закрыть глаза, как тут же веки начинали биться, будто мухи под ладошкой.

Где-то к утру бабка зашевелилась, тяжело прошла к скамейке. Зажмурившийся Белка почувствовал, что бабка наклонилась над ним. Он с минуту лежал смирно, весь напрягшись. Потом не выдержал — открыл глаза. Бабка смотрела на него странно. Щеки у глаз собрались в морщинки, а губы не то улыбаться, не то плакать хотели. В глазах ее почудилось Белке что-то давным-давно забытое, от чего несколько раз больно стукнуло сердце. Хриловато и тихо проговорила бабка, кладя ладонь Белке на висок:

— Ты спи, маленок, спи... Хочешь, я тебе сонюшку-засонюшку спою?

Белка вспомнил, что давно-давно называла бабка сонюшками-засонюшками все колыбельные песенки.

Качая головой и плечами, тонким голоском запела бабка:

Я не мамкин сын,
Я не папкин сын...
Я на елке рос,
Меня ветер снес...
Я упал на пенек,
Стал кудрявый паренек...

Умолкла бабка. Глаза закрыла, губы сжала и еще пуще затрясла головой. Должно быть, ей, как и Белке, представилось давнее, позабытое. Как лежал Белка в колыбели, бело-головый да теплый и такой еще малый, что и учить его ничему не надо было, и ругать не за что. Был он ничей — ни богов, ни Вианоров. Сам по себе.

Я на елке рос,
Меня ветер снес...

Невмоготу стало Белке слушать эту песенку. Горькое горе вдруг захлестнуло его жгуче. Не смог он сдержать горе в себе, не смог спрятать. Хотел было закричать на бабу. Но вдруг что-то сделалось с его лицом — будто расплющилось оно, запрыгали губы. И слезы, что привычно и тихо давили Белку изо дня в день, вырвались враз. И Белка не закричал на бабу, а заплакал криком, как малый ребенок, стыдясь и загораживая непослушное лицо ладонями.

— Вы... вы такие... — захлебывалось горькое горе, — вы не любите... не любите... вы...

Баба схватила ладонями Белкину голову.

— Ничего ж... ничего... — испуганно заговорила она. — Помолимся боженьке, сынок... Он поможет нам, поможет!

И так же внезапно, как накатила волна горя, от этих бабкиных слов остыло все в Белкином сердце, высохли слезы. Он откачнулся от бабки, оттолкнул ее руки.

Изба была большая и пустая.

Густо звенела в ней синяя тишина.

Белка молча смотрел на бабу в упор. В ее полные бессилия и боязни глаза. Он ничего не сказал ей и отвернулся к стенке. Тогда баба выпрямилась, прошептала со страхом:

— Ой, чистый дед Иван! — и запричитала, кидаясь к иконам: — Господи, что же теперь будет! Что же будет!..

«Что будет? — сказал себе Белка. — Я все равно сбегу от вас! Вот что теперь будет!»

Баба молилась остаток ночи. Когда же тихо скрипевшие ходики с русалкой показали без десяти шесть, баба с трудом поднялась с пола и сказала:

— Вставай! Идем к батюшке.

У отца Алексея на двери дома была круглая дырка с задвижкой. Когда незваный гость стучался рано и окна были закрыты ставнями, дверь смотрела на пришедшего из этой дырки то черным оком отца Алексея, то голубым глазом матушки Таисьи.

На этот раз, моргнув задвижкой, дверь открыло строгое черное око.

— Батюшка,пусти! — попросила баба.

Дверь повела оком на Белку.

— Сейчас, мамочка, облачусь, — не совсем довольно проговорила она заспанным голосом священника.

Кряхтя и кашляя, отец Алексей ушел и отворил не скоро.

Но когда дверь распахнулась, он предстал перед бабкой и Белкой облаченным, причесанным и свежим.

— Прошу,— сказал отец Алексей, крестя бабку и Белку,— прошу, дети мои. Матушка еще поживает, потому говорите тише. Что за напасть с вами приключилась?

Бабка, всхлипывая, крестясь и кланяясь, изложила все беды и просьбу.

Белка сначала смотрел в пол. Потом, удивленный молчанием отца Алексея,— на его руки, взволнованно перебиравшие цепочку от креста.

— М-м-да...— сказал отец Алексей, когда бабка закончила.— М-м-да... Дорогая моя,— отец Алексей тронул бабку за руку,— подумай, сколь много хлопот и напастей нам от сего язычника!

— Ох уж много, много! — согласилась бабка.

— Каково же хорошо будет, когда он уйдет от нас, каково прекрасно! — Отец Алексей широко повел руками и расправил плечи.— Ты подумай, мамочка, хорошо. Пусть он себе уезжает с Дарьей, пусть и Тимошу пока возьмет. Лишь бы с глаз! А потом ты напишешь письмо ей. Мол, доченька, соскучилась о внучке, пусть прибудет погостить. Понимаешь?

Бабка молча уставилась на священника. А он отвел глаза в сторону и, смущенно покашливая и потирая ладонями колени, проговорил:

— Конечно, мамочка, то не совсем прямой путь, но зато верный. От Вианора мы наконец избавимся-таки. А Тимоша,— отец Алексей положил ему на голову вздрагивающую легкую ладонь,— Тимоша немного потерпит. Во имя отца и сына и духа святого. Это будет его маленьким подвигом.— Отец Алексей опять развел руками — на этот раз озабоченно.— А взять его, мамочка, я не могу. Не могу! Она не лишена прав материнства, ее воля на дитя — первая. Она — мать. Так что...— Отец Алексей грустно вздохнул.— Таков закон. Давайте уж потерпим немножко.

Бабка возразила неуверенно:

— Так ить... очень уж он ненадежный человек, Вианор этот. С супризами... Мне кажется, что Анна им упрятана. Больно уж странно — куда мог человек исчезнуть с такими деньгами? Воров у нас никогда не случалось в Ольховке...

— Раньше...— осторожно поправил отец Алексей.— А теперь много люду собралось, есть и случайные... Ходят слухи...

— Слухи-то Вианор, батюшка, распускает. Поверь мне! От него первого они пошли, ей-ей! То-то мне и странно!

Отец Алексей нахмурился.

— Бог с ним, бог с ним! Я досужих разговоров не люблю. Тебе от сердца что и показаться могло, а к догадкам я причастным быть не хочу. Можно так и напраслину на человека возвесть, а с него и так грехов довольно! Пусть едет с богом, не мешай ему, мамочка. Человек не иголка, не потеряется и наш Тимоша.

По дороге обратно бабка все забежала вперед и тонким голосом говорила:

— Так, Тимоша, послушаемся батюшку-то. Ты уж не бойсь Вианора! На самом деле, что он тебе сделает? Ты ведь не за границей где, люди заступятся. А потом я тебя вызову.

Белка не отвечал. Он решил забрать Рябку и уйти с ним к Наташе. Что-то дрожало в нем, непривычное, горячее, гневное. Предали его, предали. И когда Белка вдруг увидел Сережку Гвоздилина, таскавшего за шиворот мальчугана лет семи, это горячее и гневное крепко дрогнуло в сердце и понесло Белку прямо на Сережку. Мальчишка пищал и жалко трепыхался в Сережкиных лапах, а Белка видел лишь нахально оттопыренную нижнюю губу на Сережиной физиономии и его жестокие глаза. С размаху, как он прыгал со скалы на скалу, оседлал Белка Сережку, стиснув сильными коленями толстые бока, только что колыхавшиеся от довольного хохота, впился цепкими пальцами в ненавистные уши.

Бросил Сережка мальчишку, ошарашенно завизжал на всю улицу и принялся выплясывать, стараясь стряхнуть с себя Белку.

А со всех сторон уже мчались мальчишки, вопя от восторга.

— Вот тебе и аллилуйя! Будешь еще? — спрашивал Белка. — Будешь?

— Слезь же! — взмолился наконец Сережка. — Слезь!

— А будешь? — еще крепче сжимая в пальцах Сережкины уши, спросил Белка.

И Сережка, не выдержав, завопил:

— Не-ет! Не бу-уду! Слезь!

— Ну смотри! — Белка спрыгнул на землю.

Мальчишечья стая с гиканьем и свистом побежала следом за Сережкой. А тот убегал что было силы, прижав ладони к красным ушам.

— Ахти! — вскричала бабка навстречу Белке. — Ахти! Ты что ж, драться вздумал? Тебя ведь не трогали!

Белка шагал впереди молча. О чем говорить ей, бабке? Разве поймет она? И кого ей будет жаль, если даже собственного внука не жалко отдать Вианору? Он только спросил:

— Когда они хотят ехать?

— Да дня через три.

Белка кивнул. Хватит ему времени на все. Уйдет он сегодня же.

Мать и Вианор встретили их молча. Вианор встал, взял Белку за руку и повел во двор. Пока Белка пытался сообразить, что к чему, Вианор неожиданно быстро открыл дверь в кладовку и толкнул туда Белку. Задвигая щеколду, сказал:

— Посиди малость, пока соберемся.

Белка остался в пыльной духоте, пахнувшей мышами. В кухне всхлипывала бабка.

Потом дверь в дом закрыли, и Белка слышал только, как невнятно бубнили голоса то бабки, то Вианора, но больше — матери. Должно быть, решали, что делать с ним. У Белки не было никакого желания дожидаться, что они там решат. Он потрогал дверь — нет, ее не открыть. Тогда он отодвинул пыльные старые ящики под окошком, в которых лежали аптечные бутылочки, старые тряпки, пробки и прочая ерунда. Подвинул колченогую табуретку. Нашел кусок железки — отломившийся угол почти насквозь проржавевшей тляпки, черенок которой валялся тут же. Этим углом Белка отогнул гвозди, которые держали пыльную раму маленького окошка.

В кладовку сразу же ворвался теплый чистый ветер, и стало слышно, как скулит в сарае Рябка.

Белка подтянулся, с трудом протиснулся в отверстие. Повисев немного вниз головой, ловко, как циркачи в кино, упал на землю.

Укравкой пробежал к сараю. Запертый в сарае Рябка, почуввав его, взлаял жалобно, заскребся в двери.

— Тихо! — прошептал Белка. — Молчи!

Замок был крепок. Из сарая просто было выбраться, подняв плаху на полу. Но Рябка был собакой, а не человеком. Объяснить ему этого Белка не мог. Он решил сам пролезть в узкий подкоп, поднять доску в полу и выпустить Рябку.

Белка действовал тихо. Подкоп из сарая очень походил на обычную куричью лазейку. И бабка завалила отверстие разным хламом — обрезками досок, дырявыми тазами и ведрами. Чтобы куры туда не лазали и не неслись где не надо.

Теперь Белка осторожно отбрасывал это барахло в сторону.

— Ага,— вдруг раздался за спиной насмешливый голос Вианора,— молодой человек здесь. Это хорошо. А то мы думали, что ты убежал совсем.

Должно быть, Вианор не понял, чем занимался Белка.

Он взял его за шиворот, отомкнул сарай и втолкнул туда поспешно мальчишку, потому что на дверь уже навалился всем телом свирепо рычащий Рябка. Белка особенно не сопротивлялся. Он думал, что выберется наружу вместе с собакой сразу же, как только странник уйдет.

— Молись,— сказал Вианор из-за дверей,— молись перед дорогой.

«Ладно,— подумал Белка,— молись сам. С меня хватит. Как это поп говорил мне?.. Не думай, мол. Живи как слепой и глухой. Смотри на мир спокойненько, только поглаживай пузо от удовольствия. Гладьте свои пузы сами!»

Рябка лизал ему руки.

— Сейчас мы с тобой удерем,— сказал Белка,— к Наташе, к деду Демиду удерем. Насовсем. У деда, правда, старуха строгая, но ничего! После нашей бабки она старуха на все сто. Будем охотниками.

Белка поглядел в щелку. Дом был тих. Он приподнял доску и попробовал протиснуться. Но вырос Белка за зиму и лето, очень вырос. Он даже голову толком не мог просунуть. Белка тянул доску на себя изо всех сил, но здоровенный когтыль не пускал.

— Ч-черт! — выругался Белка, вытирая лоб.— Что же делать?

Он очень хорошо знал свой сарай, выстроенный из толстых листовых досок. Он был прочен, и замки везде были крепкие.

— Ладно,— сказал Белка,— напишу записку, отнесешь Лексейке.

Пол сарая был разлинован солнечными полосками. В одной из них Белка нашел обрывок газеты. Нашарил в кармане огрызок карандаша. И принялся сочинять письмо Лексейке.

Сообщил, что заперт в сарае, что Вианор с матерью куда-то хотят его увозить. И что хорошим тут не кончится. Велел позвать Наташу.

Из Лексейкиных вещей всего-то и была у Белки старая рогатка из алюминиевой толстой проволоки. Лексейка дня три назад отдал ее Белке. Пахнет она или не пахнет Лексейкой? Белка понюхал сам, но, конечно, ничего не унюхал, вздохнул и сунул рогатку к Рябкиной морде. Рябка, дергая влажным носом, сопел, вертел хвостом.

— Понимаешь? Или не понимаешь?

Белка шпагатинной привязал к ошейнику свернутую в трубочку газету, еще раз дал понюхать рогатку и приказал:

— Ищи! Ищи, Рябка! Выручай!

Он поднял половицу. Рябка, сплющившись, едва втиснулся под пол. И Белка слушал, как он ползет к выходу, царапая когтями сухую глину.

— Ищи... Ищи... Ищи... — громко шептал Белка, вслед собаке.

Он слушал, как долго, очень долго возился Рябка, выцарапываясь из хлама, который Белка не успел убрать. И не скоро увидел в щель, что Рябка наконец выбрался наружу. Но собака не побежала, а принялась крутиться возле дыры, скуля и вызывая Белку. Белка испугался, что пес вернется и еще горячее зашептал, припадая к шершавой щели губами:

— Ищи, Рябка... Ищи! Вперед! Вперед, Рябка!

Рябка постоял минуту, подумал и одним махом перескочил через забор.

Вечерело. Мать уже приносила чашку со щами и хлебом. Никто не шел. Должно быть, Рябка потерял записку. А может, погнался за каким котом и забыл о Белке. Звезды выпали на небо. На крыльце появились Вианор и мать. Мать прошла прямо к калитке, неся на плече какой-то узел. Вианор направился к сараю.

— Не спишь? — спросил он входя. — Идем.

— Куда еще?

— Идем, потом узнаешь.

— А я хочу сейчас узнать, — упрямо сказал Белка.

— Дарья, он непослушен, — сказал Вианор.

— Что такое? — недовольно крикнула мать. — А ну шагай сюда живо!

— Куда мы?

— В город...

Белка недоверчиво вышел. На крыльце стояла, всхлипывая, бабушка.

— Уж поезжай внучек, — попросила она, — мать ить...

По улице шли молча. Впереди Вианор, позади мать с узлом. Поселок спал. Только с той стороны, где начиналась стройка, стояло светлое зарево прожекторов. Там, где лучи встречались вместе, высился огромный кран. А в квадратном кубике кабинки, ярко освещенном изнутри, стоял человек.

— Наташа! — сказал Белка, останавливаясь.

Мать толкнула его:

— Иди!

Вианор крепко взял Белку за локоть. Но Белка все оглядывался и смотрел, как кран поднимал вверх огромные плиты. Издали плита казалась голубой и легкой. Она плыла по воздуху невесомо, как осенний лист.

На берегу, куда они шли, Белке показалось сначала пусто. Справа за поселком караванов было совсем мало — река обмелела. Но так же ярко горело окно плавучего крана, светились огни кают на паузках и баржах. Кто-то играл на гармошке.

— Играй, играй... — усмехнулся Вианор. — Река-то совсем садится. Скоро по мелям до устья пешком ходить будешь! — И позвал: — Володька!

В ответ прокрипело: Нату-да... Ру-да...

— Сменил бы ты свой костыль, наконец! — сердито сказал Вианор.

Натуда-Руда прошел к берегу вниз. Там, примкнутая к ржавому якорю, увязшему в песок почти до горлышка, стояла его диковинная лодка, похожая на огромную стерляжью тушу. Вианор чуть не упал, запнувшись за торчавший якорь. Рассердился. Загорчал на Дарью, неловко шагнувшую в лодку, на Белку, который замешкался.

Мотор застучал, и лодка легко скользнула в ночь. Белке показалось, что сейчас она ударит хвостом и уйдет вместе с ним под воду.

Остановились они недалеко от того места, где Белка в прошлый раз рыбачил с дедом Демидом. Вианор сунул в руки Натуде-Руде бумажку. Должно быть, деньги. Натуда-Руда ужасно обрадовался и забормотал, что он Вианору навеки верный раб и друг.

— Ты божий раб,— недовольно сказал Вианор,— поезжай да помни: ума не потеряй. После пить будешь. Сейчас появишься где-нибудь, для вида.

Натуда-Руда забрался в лодку.

— С богом,— закрестился Вианор,— гони на полной!

Вианор раскладывал из сушняка костер. Белку как будто забыли. Мать, тяжело дыша, притащила большую охапку веток. Прошла под березу, вытряхнула из узла одеяло.

— Ложись спать, завтра идти далеко еще...

Белка торопливо лег, закрыл глаза и стал лихорадочно думать.

Его привезли в тайгу. А говорили в город... О чем шепчутся они, сидя рядом у костра и глядя в глаза друг другу? Почему?

Вианор, крадучись, подошел к Белке, наклонился над ним.

— Спит,— сказал с удовлетворением.— Ну, теперь ты должна быть спокойна.

Мать крестилась. Вианор резал на газете хлеб и огурцы.

— В молитвах забудет он суету и жизнь посвятит господу. Так его и воспитаем. Будем жить в зимовье как в скиту... Коровушки, овцы, огород... Много ли нужно, чтоб достало сил молиться.

— Не пересилишь людей...— тихо сказала мать.

Вианор рассмеялся.

— Что ты о людях знаешь, Дарья! Учти одно — не материальный урон важен, а моральный, ты эти слова понимаешь? Самое главное — душевную смуту пускать. В одном месте словцо, в другом, в третьем... И, глядишь, неудовольствие! Уже сидят и думают: а что ж это такое получается? Не то что-то получается! А ты тихохонько дальше... Главное, чтоб человек начал сомневаться. Вот встаешь где-нибудь в очереди и говоришь ненароком: «А в Свердловске спичек нету! И мыла нету... Вчера в двух ларьках здесь спрашивал — тоже нету». Бросил слова эти и пошел. И все начинают спички хватать, тревожиться. «Вот, говорю, на даче у начальства мой дружок сторожем работает. Ну, еда у них — не в пример нашей!»—Ах, говорят, какой ужас! Где справедливость?» Никто и не подумает, врешь ты или нет... Сладкое это дело и легкое — сомнение зарождать...

— Может, этого и довольно будет? — робко спросила мать.

— Не-ет...— сказал Вианор,— петушка напоследок пустить новоселам следует! Тоже беспокойство! Как да почему! Снимут кого, в должности понизят. Опять же неудовольствие.

Я, мол, честно работал, а меня ни за что обидели. Нам что? Все знают, что уехали. Кто на меня, больного, рыхлого, подумает? Кто тебя, голубицу сирую, заподозрит?

— Страшно что-то... Выросла я тут...

— Ты под господним крылом выросла, — сказал Вианор, — что уж там такого хлопотного. Печь труднее растопить. Керосинчиком плеснешь, спичечку бросишь. Скажут, кто окурок уронил...

— Ох, ох, — беспокоилась мать, — они искать горазды нонче!

— Накипело во мне, накипело! — сказал Вианор холодно. — Более двадцати лет душа болит. Пора...

Белка выбрался из-под одеяла в камни, в траву, обдирая колени, и пополз в гору, к лесу — как будто мог сейчас добежать до Ольховки, обгоняя лодку Натуды-Руды.

Когда исчез из виду костер, Белка поднялся и попробовал бежать. Но бежать было невозможно. Гора была крута и усеяна мелкой текучей щебенкой. Ноги разъезжались.

Он огляделся. Вправо и влево скалы круто обрывались. Впереди вздымалась вверх каменная стена. А там уже шумели сосны, сильные и высокие.

Белке показалась, что внизу кричат. Он прислушался. Крик не повторился, но снизу бесшумно вылетел орлик, а следом — две косачихи. Шевеля огромными черными крыльями и словно набирая с каждым взмахом силу, орлик уходил вверх. Косачихи пошли стороной. В сумерках птицы видели плохо, и Белка, вытянув руку, мог бы задеть их. Он знал, что птиц спугнули, что Вианор идет за ним, что если за десять — пятнадцать минут не одолеет он эту каменную стену, от Вианора не уйти.

Жаль только, некому сейчас протянуть руку сверху. Нет Наташи, нет Лексейки. Нет деда Демида. Но ведь сказал же он Наташе: «Ты не бойся! Я такой!»

Белка не оглядывался. Он лез. И хоть было трудно, Белке казалось, что скала даже наклонилась назад — только бы помочь ему. Он думал: если прижаться к ней ухом, непременно услышишь, как стучит большое каменное сердце.

Уже качалась трава над головой и можно было разглядеть ржавые отцветшие свечи таволги.

Белка подтянулся, перевалился наверх, отполз немного и лег лицом в траву. Почти сразу услышал тяжелое дыхание, шорох щебня.

— Тимка! — крикнула мать. — А ну, вернись! Вернись сейчас же!

Белка притих за камнем, обхватив руками хилый ствол старой лиственницы. Рубаха на нем была мокрая. Только сейчас почувствовал он острый ветер.

— Ну, все, — сказал Вианор зло, — притопает домой, все твоему Петру Петровичу расскажет. Не-ет, я его разыщу!

— Тимка! — еще раз позвала мать.

Вниз они сбежали быстро, ругаясь на чем свет стоит. Белка потерял их из виду. Неясные голоса доносились недолго.

Откуда Белке было знать, что в этот поздний час кто-то сильно постучал в окно их дома.

Бабка всполошенно вскочила и, не зажигая огня, выглянула в кухонное окошко. Она очень перепугалась: Рябка куда-то исчез, да и вообще она одна была в избе. На крыльце маячила высокая фигура.

— Кто, кто?! — спросила бабка, высовывая голову в сенки и думая, что крючок на дверях добрый, сразу не сорвешь.

— Это я, Петр Петрович...

— Господи, твоя воля, что так поздно-то! — У бабки в душе захолонуло: может, что с Дарьей или с Тимошей случилось? Не мог же милиционер так поздно приходить, чтобы опять об Анне спрашивать. — Ты бы хоть с утра...

— До утра ждать время нету! — Петр Петрович дернул дверь. — Ты сколько меня на крыльце держать будешь, Сапожкова?

Петр Петрович вошел в кухню и сам щелкнул выключателем. Вид у него был усталый, глаза красные. Запирая снова дверь в сенках, бабка заметила Рябку. Он вылизывал свою миску, в которую она еще с утра налила похлебку с хлебом.

— Ну, слава богу, — сказала бабка, и на душе у нее стало спокойнее.

Петр Петрович сидел возле кухонного стола и смотрел вокруг себя так, словно он к Сапожковым пришел впервые.

— Я взаправду ничего об Анне не знаю, — сказала бабка. — Ну, приходила, так не ко мне же одной!..

— Где внук? — перебил ее Петр Петрович. — Где ваша дочка?

— Да господи! — всплеснула бабка руками и в бессилии села на сундук. — Ай что стряслось?

— Пока не знаю... — ответил Петр Петрович, — может, и стряслось. Где они?

— Да господи, уехали же! В город...
— С кем?
— Да с Вианором... Он человек степенный, спокойный, богоугодный. Его сам наш батюшка привечал. Сколь они промеж собой о господе говорили! Да не томи! Что случилось?

— На чем уехали?

Бабка заплакала.

— На чем у нас ездят? Катер-то два раза в неделю, дай бог, ходит... С оказией.

— Все понятно... — сказал Петр Петрович. — Крутишь, бабуля...

Бабка заплакала еще горше.

— Вот те крест! Чего крутить-то? Володька их увез.

— В город... — Петр Петрович покачал головой. — Провожать надо, когда уезжают. Чтобы хоть знать, в каком направлении. Ну, так слушай! Володьку я недавно в отделение увел. Там сидит. Лодкой мы ему пользоваться запретили, а я его на берегу взял, прямо из лодки. И не потому что он плавал куда-то. А принес мне Рябка записку... — Петр Петрович достал Белкину записку из кармана и прочитал ее вслух.

Бабка всхлипнула.

— Он же выдумщик! Его в город, а он вон про что...

— А и не в город! Увез их Володька в тайгу, аж за самые дальние покосы, вроде бы по ягоду.

Бабка вскочила:

— Быть того не может!

— Кто еще знал про их отъезд?

— Да многие, голубь, многие, — бабка бегала по кухне, маялась, — старухи знали, отец Алексей...

— Во, в самую точку и попала! Идем к попу!

— Куда ночью-то...

— Для тебя ночь, а для меня рабочий день...

Почти бегом добрались они до дома отца Алексея. К нему в окно Петр Петрович стукнул так, что зазвенели стекла и сам отец Алексей без промедления до пояса высунулся на улицу.

— Прошу извинить... — сказал Петр Петрович, — за ночной визит, но до утра ждать некогда.

Встревоженный отец Алексей впустил их.

— Ну, замков у вас, замков! — сказал Петр Петрович. — Вроде не среди людей живете...

Никаких подходов Петр Петрович не делал, а спросил прямо:

— Вам известно, что прихожанка ваша Дарья Сапожкова уехала с сыном, и с этим... Вианором? С гражданином Николаем Терещенко?

Отец Алексей стоял перед ними босой, в брюках и в майке.

— Уж позвольте одеться, что ж я в таком непристойном виде!

Он тут же вышел в тапочках, в рубахе. За ним завязывая халатик и сонно жмурясь, встала на пороге матушка Таисья.

— Присаживайтесь,— сказал отец Алексей.— Да, я знаю об этом. Приходила ко мне бабушка Сапожкова. Но как же я могу перечить, если люди решились соединить судьбу? Все в господней воле...

— Вы успокойтесь,— сказал Петр Петрович.— Я знаю — вы умный человек. И не могло такого быть, чтобы вам Терещенко по душе пришелся.

— Да где уж там по душе...— хмуро сказал отец Алексей.— Он человек более чем странный...

— А не связываете ли вы, Алексей Савельевич, исчезновение Анны с ним же?

— Ну, мне о том судить не дано, я не следователь. Анна его безмерно уважала — это я заметил. Но у меня лично с ним контактов не было, хоть и не раз я вел с ним спор, уважаемый Петр Петрович! Он упорно называл себя истинно-православным христианином, а это могло иметь двойное толкование. Возможно, он особенно горячо, фанатически верует...

— А что еще возможно? — спросил Петр Петрович.

Отец Алексей поднялся, закурил трубочку и ответил не сразу.

— Секта такая есть.

— Знаю, есть,— сказал Петр Петрович.— Может, вы мне объясните, что вы об этой секте думаете?

— Что ж тут думать? Это опасные люди. Враги.

Петр Петрович проговорил:

— Вот как, Алексей Савельевич! Вы же знаете, сколько я с ним вожусь! Но на одной интуиции не проедешь. А где я мог взять факты? Отчего же вы не сказали мне о своих подозрениях?

Отец Алексей закашлялся.

— Знаете, любезный, так ведь ненароком опорочить человека можно. Надо разобраться сначала...

— Вот и разбирались бы вдвоем. Куда легче! А то мне одному пришлось. А я в вопросах религии не подкован. И еще,

Алексей Савельевич, уж не взыщите. Он вас, случаем, не шантажировал? Я хотел вас об этом в другое время спросить, да так выходит, что откладывать некогда.

— Видите ли, Петр Петрович, я сам принял в тяжкую годину. В селе, занятом фашистами. Вы горячо не судите. Тогда у меня выбора не было — либо на каторгу в Германию идти, либо на родине остаться и быть ей полезным. Я этого не скрывал.

— Знаю! Знаю, что у вас в церкви партизаны иной раз оружие прятали, знаю также, что троих вы от верной смерти спасли. Чего же вы теперь испугались?

— Давно это было. Думаю — забыли уже. Одно вспомнят — что при фашистах сам принял. Совесть моя чиста, но те трое погибли позже на фронте. Кто подтвердит? Все же в большой тайне делалось. Кому не хочется спокойно жить? От разговоров я и уехал столь далеко.

— Так вот, Алексей Савельевич, дорогой, — Петр Петрович потер лоб ладошкой, — стало быть, Терещенко вас испугнул, чтоб вы о нем помалкивали. Одного вы не знаете. Был Терещенко в том селе доносчиком. Вы там не всех знали, но, может, вспомните его? Он последнее время полицейскую форму носил. Рыжий такой был, тоненький, вертлявый — по описаниям. Я вас не тороплю, а пока еще скажу вот что: увез он Сапожкову Дарью не в город, как вы полагаете, а в тайгу.

— Ох! — воскликнула матушка Таисья.

— Не может быть! — сказал отец Алексей.

— «Не может, не может!» — Петр Петрович поднялся. — Вы вроде уже в раю живете! А ничего этого не случилось бы ни с Сапожковыми, ни с Анной, которая всегда работала честно. Если бы вы, уважаемый Алексей Савельевич, не о себе думали, а о людях!

— Не может быть, не может быть... — бормотал отец Алексей, закрывая за ними двери.

Петр Петрович проводил исплакавшуюся бабушку до дому и сказал на прощанье:

— Можешь спать теперь, товарищ Сапожкова, если, конечно, совесть тебе уснуть даст... А я пойду народ поднимать.

...Ничего этого Белка, конечно, не знал. Не застав бакенщика в избушке, он загоревал сильно. Но потом подумал, что уже утро, светло, и, конечно, ни мать, ни Вианор не решатся теперь ехать в Ольховку да еще что-то там поджигать! Да и Володькина лодка так на реке и не появилась. Все-таки Во-

лодка хоть и пьяница, и кур ворует, но не такой же он дурак, чтобы в таких делах помогать Вианору!

Белка успокоился совсем. Сам-то он до вечера домой доберется! Он шагал под осинами и березами, под елями и кедрами, лез через валежины. Свистели над головой рябчики скоро и тонко. Это был знак тревоги.

«Глупые! Я вас не трону!»

Синицы не боялись. Качались на ветках перед самым носом. Бурундуки умывались, сидя на старых замшелых стволах. А один мимо промчался — щеки толстые. Набить их чем-то успел, тащит домой. Дед Демид сказал бы — хозяйственный парень.

Смыкались позади кусты, и замшелые стволы прятали Белку. Старые выворотни вздымались, как большие шершавые ладони, — не пройти Вианору, не найти Белку, спрячет его тайга от злых Вианоровых глаз.

Белка наткнулся на густой малинник. Ягоды, крупные, переспелые, висели тяжело, как капли. Дунь — и упадут. Белка подставлял руку, задевал ветку, ягоды шлепались в ладошку. И он жадно ел, вымазываясь соком.

«У-ух-х...» — вдруг сказал кто-то рядом.

От неожиданности и испуга Белка чуть не подавился, присел. Между ветками увидел: с той стороны, откуда дует ветер, сидит боком к нему небольшой медведь. Шерсть рыжая, нос длинный, губы вытянуты трубкой. Обсасывает ветку. Глаза от удовольствия зажмурены. Обсосал одну, сказал: «У-ух-у...» — и за другую, всю в ягодах, принялся. Щеки до глаз в малине.

Белка пошел прочь тихо. Пусть лопают. Вкусно ведь!

Шагал напрямик — гора так гора, скалы так скалы, старый валежник — пусть! Он смотрел на деревья, на солнце, где юг, где север, где запад и восток. Он повторял все повадки деда Демида. И если раньше побаивался он большой тайги, то теперь она казалась ему домом, веселым, приветливым и добрым.

После полудня над лесом пролетел вертолет. Белка только догадался, что это вертолет. Он видел его на картинках и в кино.

Отчего бы тут вертолету появиться? Может, на стройке будет работать? Вертолет пролетел еще и еще раз, совсем низко, с ужасным треском. Белка, чтоб не оглохнуть, уши заткнул.

Вот было б хорошо, если бы они его увидели! Забрали бы с собой. Но разве придет летчику в голову, что идущий от дерева к дереву человек внизу — мальчишка, который толком не знает дороги, которого мог поймать бандит Вианор, выдающий себя за праведника.

Он подумал, конечно, что шатается по лесу просто охотник или ягодник.

— Ладно! — сказал Белка. — Выйду сам!

Конечно, Рябка — не совсем дрессированный пес. Где ему понять, что надо найти Лексейку и отдать ему записку?

Горы теперь были справа, а за ними — река. Проще всего было бы связать тальником два бревна — их на берегу полно. Да плыть вниз до Ольховки. Но кто знает, что придумал Вианор. И Белка шел вдоль хребта и с каждым шагом чувствовал, что совсем ослаб, хочет есть и пить. Тогда он решил забраться на дерево и отдохнуть. Он выбрал старую густую ель, обошел ее вокруг — не виден ли ствол. Сквозь тяжелые ветви, обвешанные смоляными длинными шишками, ничего нельзя было разглядеть. Белка набрал охапку сухого мха и полез по частым колючим веткам как можно выше. В удобной развилке устроил себе ложе. Сел прочнее, чтобы не упасть, если задремлется.

Сам он сквозь ветки видел далеко. С одной стороны — спокойную реку со старыми тальниками на том берегу. С другой — горы, синюю тайгу и лысую башку Мохового Лешего.

У Белки был острый глаз. Ему показалось, что по лысине Лешего ходят люди. Те самые, на которых через горы смотрел каменный старик ехидно: вот, мол, я! Стою на вашей дороге, и не пройти вам дальше!

Он подумал о том, что дорога из райцентра упиралась в бороду каменного старика и кончалась там, а дальше делалась узкой и непрочной от непогод. А теперь взорвут Лешего, и сразу в Ольховку пройдет широкий путь.

Эти люди не верят в бога. Но если они прикажут горе перейти отсюда туда — гора перейдет. И, наверное, очень скоро, раз по ней лазают.

Белка сказал себе, что отдохнет и пойдет туда напрямик, к людям. А потом он вернется. С ними. Они найдут и Вианора, и мать, которая, может, теперь одумается.

Он не заметил, как задремал. Сквозь чуткий сон услышал треск вертолета и подумал: а вдруг в самом деле ищут его?

Проснулся он от знакомого лая. Взглянул вниз. Задрал вверх головы, лаяли на него, как будто он был самой настоящей белкой, Вертай и Рябка. В стороне щипала траву дедова лошадка Матреша. А еще дальше, сидя на упавшей березе, курили дед Демид, Петр Петрович и тот длинный парень со стройки, который рисовал красивую Ольховку и которого звали Федором.

— Ну что они брешут? — говорил дед Демид. — На каждое дерево брешут, язви их. Совсем ваш Рябка моего Вертая спортил. Тот психопат, и этот психопатом за день стал.

Где-то не слишком далеко грохнуло подряд три выстрела.

— Слышите! — воскликнул Петр Петрович, вскакивая. — Это Наташа! Может, нашли?

Дед Демид, внимательно поглядев на ель, которую облаивали собаки и на которой сидел Белка, поднялся и сказал:

— Погоди-ка...

Белке надо было бы заорать, свалиться кубарем вниз, а с ним вдруг сделалось что-то странное — ослабели ноги и горло перехватило. Он уцепился за ствол и молча смотрел, как дед Демид идет к елке, кусая дымящуюся трубку.



ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Антонина Глебовна Корытковская

БЕЛКА ИЗ ОЛЬХОВКИ

Ответственный редактор *З. С. Карманова*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *В. К. Егорова*. Корректоры *З. В. Зайцева* и *Т. П. Лейзерович*.

Сдано в набор 11/IV 1973 г. Подписано к печати 4/VII 1973 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 8. Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 7,43. Тираж 150 000 экз. А09221. Заказ № 536. Цена 35 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суховский вал, 49.

Корытковская А.

К66 Белка из Ольховки. Повесть. Издание 2-е, переработанное. Рис. В. Самойлова. М., «Дет. лит.», 1973.

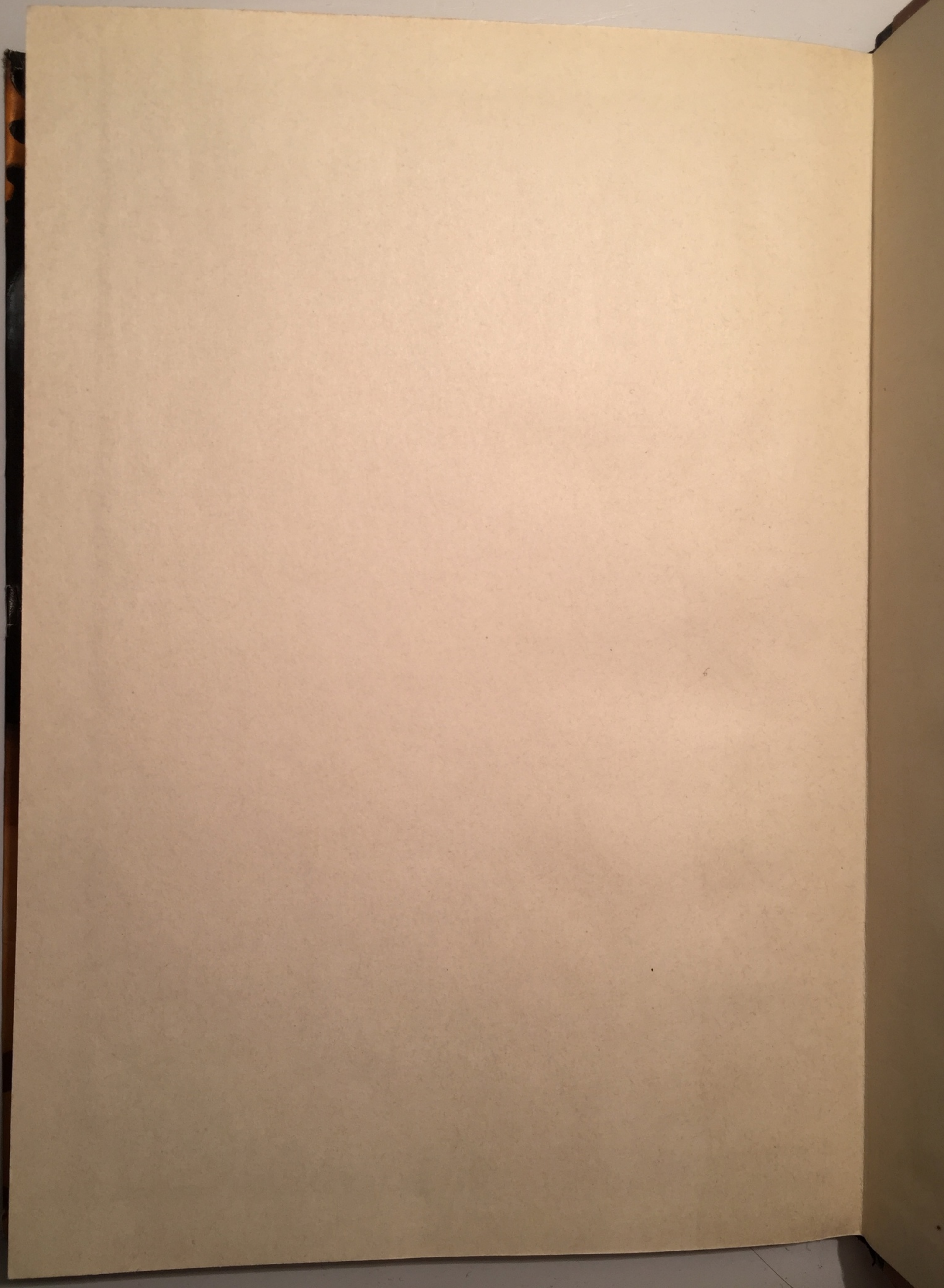
127 с. с ил.

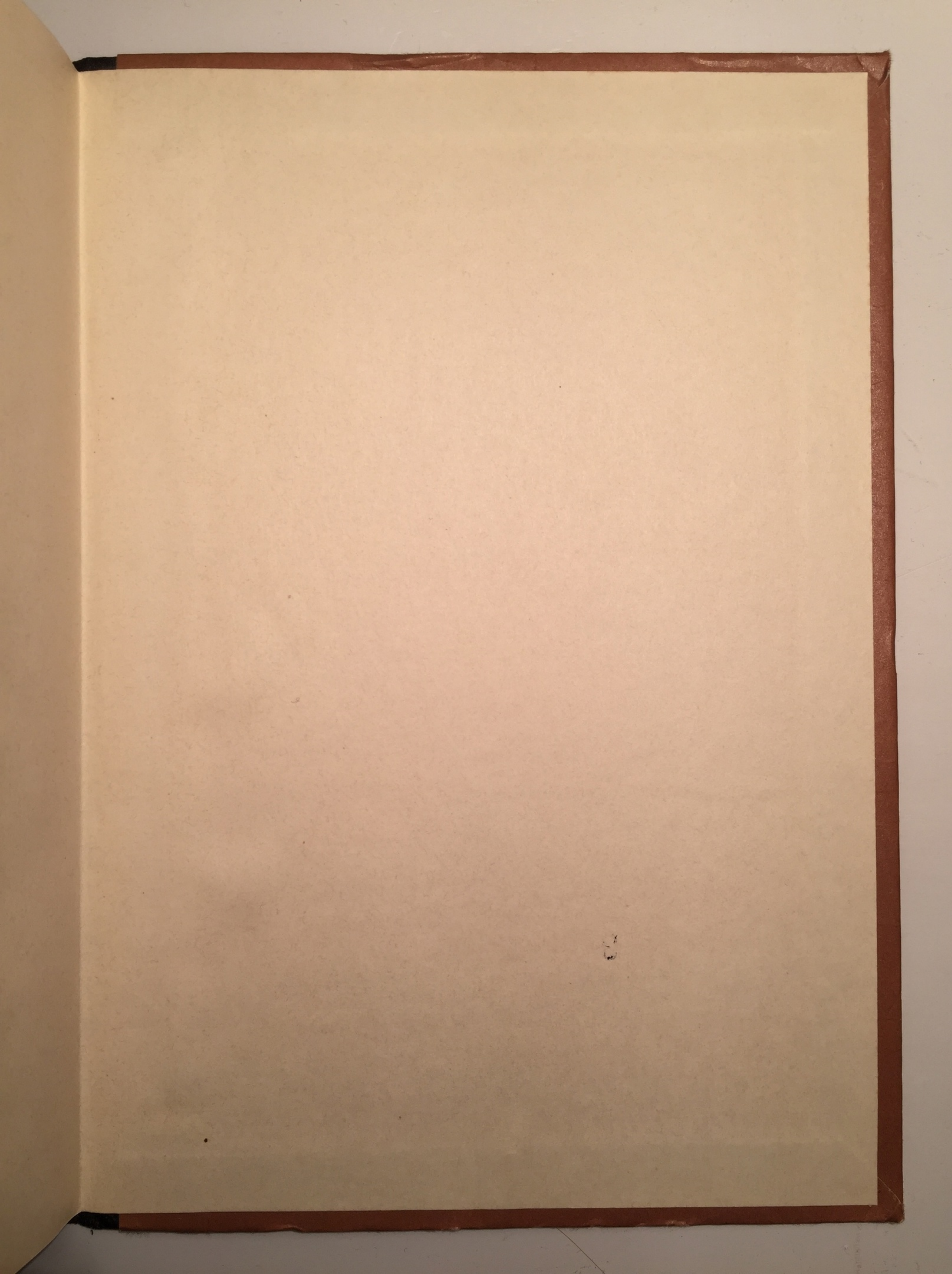
Повесть о мальчике Тимке Сапожкове, по прозвищу Белка, который живет в глухом сибирском поселке в религиозной семье. Дружба с крановщицей Наташей открывает мальчику глаза на жизнь и разрушает его религиозные представления об окружающем мире.

тере-
ит.»

кото-
ружба
и раз-

P2





Цена 35 коп.